

18+

Ануш Варданян

Бумажные ласки



Ануш Варданян
Бумажные ласки

«Издательские решения»

Варданян А.

Бумажные ласки / А. Варданян — «Издательские решения»,

ISBN 978-5-44-900591-5

«Бумажные ласки» представляют собой забытый ныне жанр любовного романа в письмах. Время действия романа 1922—1936 гг. Ася и Иса познакомились в середине 20-х, поженились и переписывались всю жизнь. Поначалу они бедные влюбленные, разлученные обстоятельствами, затем женатые, степенные люди. Иса кинематографист, режиссер и часто уезжает из Ленинграда, где живет семья, в экспедиции по всей стране. Они дразнят друг друга, ревнуют, признаются в сокровенном, и все это на почтительном расстоянии. Книга содержит нецензурную брань.

ISBN 978-5-44-900591-5

© Варданян А.
© Издательские решения

Содержание

От Автора	6
1922.	7
Ася не хочет черешни	9
Иса идет в искусство	13
Ася любит ридикюль	16
1923	18
1924	23
Иса. И пошло все к черту	25
Ася. Разбуженные чувства	27
1925	36
Иса. Между девочками	38
Ася + Иса. Первое расставание	43
Ася + Иса. Дуэль без цели	47
1926	50
Иса. Может ли Фира помочь?	65
Ася + Иса. Конец разлуке	71
Конец ознакомительного фрагмента.	72

Бумажные ласки

Ануш Варданян

Художник Михаил Комраков

© Ануш Варданян, 2017

ISBN 978-5-4490-0591-5

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

*Черно-белому кино, кино без слов, со словами,
кино свободному и подневольному,
хорошему кино и даже плохому,
кинематографистам страны,
где так и не возникло Голливуда,
посвящается*

От Автора

Эта книга никогда бы не состоялась, не случись в моей жизни несколько удивительных зигзагов. Во-первых и в самых главных, моего ученичества в мастерской кинорежиссера Леонида Менакера, чей мир, дом и воспоминания проросли в меня прочно – уж не вырубить. Во-вторых, если б не трудная и интересная работа над книгой воспоминаний о моем мастере, которую доверила мне, отнюдь не писателю, семья Леонида Исааковича после его смерти. И в-третьих, если б исследовательская необходимость и природное любопытство не заставили меня открыть один за другим два старинных чемодана. Оба были заполнены пожелтевшими конвертами с письмами, письмами без конвертов, телеграммами и почтовыми открытками. Иногда бумага была гладкой, будто произведенной вчера, бывало же, напротив, она казалась измученной, измочаленной, как промокашка. Иногда чернильное перо царапало поверхность, но часто слепой карандаш. Сначала я не понимала почерков и даже не различала их – кто это пишет? Мужчина? Женщина? Оба? Но со временем я узнавала их, как друзей, – в лицо, по силуэтам букв, по наклону, по нажиму. Это были письма Аси и Исаака – родителей Леонида Менакера. Они писали друг другу всю жизнь и сотворили из своего брака подлинный любовный роман – он кинематографист, она красавица. И вот через десятилетия совершенно случайно я оказалась в эпицентре природного катаклизма – чужой и горячей страсти, которая до времени прячется в старых чемоданах. И у меня больше не оставалось ни покоя, ни выбора – я начала писать о них: об избалованных детях, о взрослеющих молодых людях, о теряющих крылья мечтателях.

Конечно, я безмерно благодарна семье Менакер-Черновых за невероятное доверие, оказанное мне, за потрясающие два года, что я жила вместе с удивительными своими героями. Спасибо вам, дорогие Алла Иосифовна, Алексей, Михаил.

Я благодарю также Российский государственный архив литературы и искусства и его замечательного директора Людмилу Игоревну Николаеву за возможность работать с документами ушедшей кинематографической эпохи 20-30-х годов – времени становления советского кино.

1922.

Иса хочет познать женщину

– Иса, вы невыносимы, вы смешной, как обезьянка. Я лопну от смеха! Сейчас я лопну от смеха!

– Она сейчас скажет, что уписается, – шепчет Исе на ухо Илюша.

– Трауберг, что вы там бормочете?

– Ничего дурного, Шосенька. Учю товарища быть учтивым. Поклонись барышне, фетью питерский.

Иса, подпрыгнув с места, срывает с головы невидимый колпак и приземляется, действительно по-обезьянни, в глубоком, хоть и корявом поклоне. Шося заходится, заливается снова, фыркает, отдувается, пытаясь унять хохот.

– Иса, прекратите, я чуть не описалась от смеха.

Иса и Илюша прыснули и привалились один к другому. Многократно проверено: если ржать вместе, предметы, явления и люди – все, что случайно попало на глаза во время внезапного приступа веселости, все утрачивает защитные границы серьезности, перестает быть важным, перестает пугать. Женское тело все еще пугает Ису, хотя манит больше всего прочего.

Шося – крупная, добрая и разбитная девица, прибыла в Петроград из городка Бологое. Прикатила она месяца два назад. Задача родителями была поставлена предельно ясная – найти жениха, да побогаче. Жизнь шурует переменчивая, то власть вильнет, то зигзаги человеческой судьбины удивят, все вокруг дорожает, а у разорившихся купцов Трошкиных капитала другого не осталось, как Шосина цветущая молодость. Шося не прочь, она любит ребятку и из-за этого хотения ходит почти всегда во влажных панталонах.

Илюша Трауберг с ней уже был. Он восхищен, она разочарована – конфликт между пылкой любознательностью и хоть и небольшим, но достаточным опытом. Но добрая Шося Илюше, конечно, об этом не сказала.

– Трауберг, вы молодец! – сообщила она ему.

– Исаак, не будь трухачом, она и тебе... – заявил Илюша другу, и за этим оборванным «тебе» вздымались воспетые и невоспетые наслаждения. Но в тот день Иса действительно разробелся, а потом уже и поздно, кажется, стало.

В последний вечер перед отъездом Шося закатила вечеринку на съемной квартире, и сама прижала Ису к стенке мягким горячим животом. Он едва не лишился чувств от аккорда восторга и омерзения.

И понимала бывалая Шося, что молоды слишком друзья Иса и Илюша, но питала к ним бескорыстную привязанность, особенно к сероглазому, похожему на умную обезьянку Менакеру.

Через недели три после Шосино отъезда Иса получит письмо, адресованное как бы всей «честной компании», но отправленное на его, Исаака Менакера, адрес. Но читали письмецо все вместе, упиваясь грамматикой сахарной и сливочной «всехней» невесты.

3/II 1922 г.

Бологое

Дорогие ребятки, вот уже неделя, как я нахожусь в замечательном городе Бологое. Вы не можете себе представить, как здесь весело. От этого веселья спать ложусь в 10—11 часов, здесь только и делов, как спать да есть. Я с горя жру как корова, зато уже на 2 фунта поправилась. Есть кавалеры, да все русские, а я ведь страсть люблю жидоч-

ков. Ужасно обидно, досадно, ну да ладно. Вы знаете, когда поезд тронулся, я так заревела и ревела до самой Любани, потом немного успокоилась, когда вылезла из вагона в Бологое, то опять начала реветь. Ой, ребятки, вы не можете себе представить, как мне хочется в Питер, но отец сказал: «Не раньше как к Пасхе поедешь, а сейчас – сюда и не рыпайся». Черт знает что, форменное насилие над личностью! Завезли чуть ли не на канате, посадили как зверя в клетку. Господа, хоть бы скорее выйти замуж, да, черт возьми, никто не берет! И чем я плохая невеста, прямо ума не приложу! Ну что же, написать, что я делаю? Делаю ничего: ем, сплю, читаю, шью приданое себе в надежде, что хоть какой-нибудь женишшишка да найдется. Единственное развлечение, что я хожу в кино, каждую программу. Счастье мое, что программа меняется через 2 дня, а то ведь кино здесь одно. Вот сегодня пойду в здеиный театр.

Нет, вы знаете, ребятки, если бы сюда всю нашу ораву, так весело можно было провести время. Конечно, ненадолго. Здесь такие дешевые извозчики, а кататься есть где.

Вы, наверное, слыхали, что я занимаюсь спортом, а именно, катаюсь на лыжах. Но как катаюсь – это вопрос: больше падаю, чем катаюсь.

Ну, что же подельываете вы? Я в полной надежде, что получу от вас письмо. Хотя надеяться можно очень туго, ведь вы такие лентяи. Ну все-таки, я думаю, что раз вы обещали, так вы напишете.

Как поживают романы ваши?

Буду ждать от вас письмо

Пока, целую ваши милые рожцы.

Шося Торошкина

P.S. Не обращайтесь внимания на ошибки, т. к. я грамматики совсем не знаю, и простите – намарано, ну, лучше не умею, да ни в этом дело, верно?

Ася не хочет черешни

С некоторых пор киевский кузен Дузя казался Асеньке утомительным занудой. В детстве Ася благоговела перед ним и даже была чуточку влюблена. Да, сильно привязана и чуточку влюблена. Уезжая из Киева, почти конвоируемая родителями в Петроград, в отчаянье думала, как же она теперь без Киева, без Межигорья, без Дузи?

Но в Петрограде Асенькины слезки высохли быстро, хоть и писала в Киев, что привывает трудно, что все кругом чужое и не нравится. В Петрограде за один только день происходило куда больше интересного, чем за длинную, размеренную украинскую неделю. Все же прав оказался папочка, решив стронуть с места клан Гринбергов и направить недрогнувшей рукой семейный локомотив к балтийским просторам. Шестнадцатилетняя Ася оказалась в нужное время и в нужном, то есть на своем собственном, месте. Концерты, джазовые вечера, дансинги с новомодным фокстротом, выставки, синемаграф с обширным, несравнимым с киевским репертуаром, не говоря уже о театре и лекториях. И главное – мальчики! Мальчиков было так много всюду, и они были так галантны и дерзки одновременно, что Асино сердце почти непрерывно смятенно трепыхалось. Ограничения были – во все эти места Ася имела возможность ходить лишь с сестрой Лёлей или с братьями, а лучше всем вместе, но петроградские мальчики были галантны и дерзки одновременно. Они почти всегда игнорировали свои и чужие запреты и быстро находили язык и с Асиными провожатыми. В этих обстоятельствах Дузя был забыт почти мгновенно, в пару тактов джаза. Настолько живо, что, когда Ася получала очередное письмо от кузена, несколько долгих секунд пыталась припомнить, чей это почерк на конверте. Потом Асеньку догнала припозднившаяся мысль: «Господи, а точно ведь, Дузя! Есть на свете Дузя!»

Осторожно разрезает конверт костяным ножиком. Дузя не слишком аккуратен, но даты пишет исправно: «28 мая 1922 года». Наверное, в Киеве уже жарко, думает Ася и откидывается на диванную подушку. Колышется занавеска. Жужжит комар.

Входит сестра, ставит на стол блюдо с первой черешней из Ростова.

– Мама сказала, что нужно есть черешню. От кого письмо?

– От Дузи.

– Что пишет?

Ася вздыхает – немного картинно, но Асеньке кажется, выразительно. Лёлочка и сама скоро станет занудой. Неужели она не чувствует: младшая сестра не хочет говорить о Дузе.

– Еще не читала, – отвечает Ася.

– Что-то загадала?

– Нет.

Лёлочка поправляет цветы в вазе и тихо выходит. Ася разворачивает письмо:

Пишу, милая Асенька, в такой обстановке, что вряд ли приходится просить прощения за небрежность, когда кругом суматоха, сутолока, сборы на дачу, сосредоточиться очень трудно, но, во-первых, хочу написать, во-вторых, не желаю быть в долгу.

Немного раздражало, что он почти никогда не здоровался в письмах. Надо же, какой оригинал! «Здравствуй, дорогая Асенька» – такая банальность не для него. «Милая кузина, как поживаешь?» – это обращение ниже уровня его могучего интеллекта. Хорошо же, она ответит ему той же монетой. Напишет нечто в таком духе: «Смотрю на дождь и все думаю, думаю...» Нет, так не надо писать, придется объяснять, о чем думаешь. А думает Асенька в свои шестнадцать о мальчиках, все время думает о мальчиках. И, если честно, то и о кузене Дузе думает время от времени, ведь он тоже мальчик. Нет, не до конца забыла Ася своего молодого родственника. Хотела бы, но нет. И она снова берется за письмо из Киева:

Ты спрашиваешь, что я теперь поддельваю? Так вот, отвечу тебе, что образ жизни, который я вел раньше, теперь отошел в область предания, «канул в Лету», как говорят поэты. И прошлое так безболезненно, так легко и непосредственно изжито, что хочется верить в прочность настоящего. Не хочу сводить все к тому факту, что я начал заниматься – хочу видеть корни настоящего глубже, в самой моей натуре. Я даже оправдываю свое прошлое, приписываю его объективным причинам. Распространяться об этом не могу в окружающей меня атмосфере. Когда-нибудь в другой раз. Учебный год свой не потеряю, сдам даже большие реп'а. Занимаюсь с удовольствием, тягочусь бездельем, когда работы нет. Ты знаешь, Асенька, я очень рад, что взялся за книги, легче будет переносить одиночество. Это действенная политика, не правда ли?

А ты все еще «кошмарить», все еще не примирилась с Питером? Знакомствами не обзавелась? А я слыхал, ты по дороге не скучала, с артистками шуры-муры разводила. «А за эту штуку не достала ль взбучку?» Как чувствуешь себя в новой роли? Или это «преходящее». Когда получишь настоящее письмо, для тебя, вероятно, мой вопрос будет архаизмом звучать. Чем думаешь, Сюта, в дальнейшем заниматься? За ум-разум возьмешься или баклуши бить будешь?

Цветы твои засушил. Да и без них есть память о тебе (у меня одного в Киеве?!).

Ну, всего. Больно трудно писать.

Наши горячо и искренне приветствуют вас.

Как же все просто у него, у Дузьки, – учебником он может прикрыть тоску. Но ведь мальчикам проще утолить свои потребности. Так рассказывала мама, намекая на что-то не слишком приличное, не для Асиных ушек. Надо будет спросить у брата Лёвки или у Дани – младшего. И что ответить Дузе? Что книги, хоть и интересны ей в умеренном количестве, но смыслом жизни никогда не станут? Или что совершенно не представляет себе свой жизни без папочки, без мамы, без братьев и Лёлечки. И что у них кто-то всегда был дома, никогда не было пустой квартиры. За всю свою недолгую жизнь Ася Гринберг никогда не оставалась одна. А если бы осталась, то совершенно неясно, какие средства понадобятся, чтобы заполнить пустоту. Уж не книги точно. Но вообще-то сейчас, после переезда в Петроград, стало тяжелее. Холодно, не распахнуть окна, прислуга хмурая, не прислониться к ней, как к бабе Пашечке в Киеве. Как она, бедная, плакала, когда Гринберги уезжали. Шептала охранительные заклинания какие-то, молитвы бормотала.

О господи, Дузя, как же у тебя все сложено на нужные полки – работа, учеба, театр, которым ты увлечен, и девушки, тела которых тебя так интересуют. И даже не сами тела, а то волнение, которое возникает в тебе самом. Ася совсем юная, но это она отчего-то понимает.

– Мужчин интересует только одно, – не устает повторять мама.

– А как же папа? Его тоже?

Мама не отвечает прямо, она выкатывает свои и без того большие глазки и говорит загадочно:

– Нет, но папа это папа, он особенный.

Интересно все же, как же люди находят друг друга, а потом женятся? Ведь это означает, что им нужно друг от друга что-то еще, кроме того самого «одного». Правда, тут мама утверждает, что «только одно» нужно мужчинам, а женщинам же необходима семья и дети. Правда ли это? Ася пока не может проверить. Своего опыта пока нет, а Лёлечка что-то темнит по поводу киевского юноши из хорошей семьи, которого ей прочат в женихи.

Нет, не знает Ася, чем будет заниматься! Не хочет об этом думать. Зачем об этом думать? Она, конечно, закончит гимназию. Привыкнет когда-нибудь к хмурому городу, в котором сейчас почти не заходит солнце.

– Асенька, ужинать! – слышится из новой столовой голос матери, и Ася идет на голос, еще плохо ориентируясь в географии нового пространства.

А вот еще что хорошего случилось за это лето. Сняли дачу в Сиверской и переехали туда все вместе. Но дача не понравилась молодежи, и папа нашел новое летнее убежище, на этот раз в Сестрорецке. Об этом местечке можно было многое рассказать, но разве Дузе интересно про балтийские берега слушать, про сосны в песках, про стальную воду, про резкий ветер, приносящий запахи старинных кораблей, измен и крушений. Ася взяла с собой много книг, но читала лениво, невпопад, забывала, на какой странице остановилась, бралась за другой роман, за следующий цветастый переплет и напрочь забывала, о чем шла речь в уже прочитанных абзацах. Брат Лёвка приезжал раза два в неделю, папа оставался дня по три, по четыре, но мамочка, Лёлочка и брат Данька жили здесь постоянно. Вот уже полтора месяца. Сегодня приехал Лёва и привез пришедшие за неделю письма. Киевские родственники и знакомые все еще баловали вниманием. Кузен Дузя написал сразу несколько писем – персонально Лёвке, персонально Лёле, лично дяде Ефиму, ну и, конечно, Асеньке.

29/VII 1922 г.

Казантип

Извини, Асенька, что до сих пор не ответил на твое письмо. Но вина не моя. Я собирался писать к тебе еще перед поездкой сюда, в Казантип, но мне, поверь, положительно не давали возможности. Как только я садился за письмо, являлись знакомые и отвлекали меня. Сегодня я «поймал» свободную минутку, чтобы, как ты выражаешься, «черкнуть» тебе пару слов.

Вот я и в Казантипе. Получил двухнедельный отпуск и использую его здесь. Казалось бы, после киевской жизни я должен был бы тяготиться Казантипом и скучать здесь. Ничуть не бывало! Девтора и вообще все родные так радушно и приветливо встретили меня, так много внимания оказывают мне, что я попросту не имею времени скучать. Что дальше будет – не знаю.

Мило. Немного наивно. И самонадеянно, конечно, писать новой жительнице Петрограда о бурной светской жизни Киева, но в целом интонация Дузи нравится Асе. Мило, но ей хочется большего, ей хочется чего-то еще. Томится Асенька и раздумывает, какой красавицей станет, как будет петроградских мальчиков сводить с ума.

Ну, о чем еще Дузя доложит? Хочется сплетен, досужих разговоров и даже злословия. Так порадуй же, Дузя, Асеньку, покружи новостями, припороши подробностями чужих жизней, предложи кого-нибудь на растерзание!

За недели 1 ½ до отъезда в Казантип встретил Милочку. Она подурнела, располнела. В ее разговоре проскользнула, на мой взгляд (может, поверхностный), пара нот легкомысленных. У нее из-под мышек несет потом. Это отталкивает. Это отталкивает от девушки. Из-за этого мужчина может уйти от женщины. Я ее впервые встретил после твоего отъезда в Петроград, что произошло довольно давно – несколько месяцев уже. А между тем разговор у нас был холодный, чисто официальный, в рамках светского. Ни капли радушия, ни доли радости, искренности, близости, интимности. Как будто бы шапочные знакомые, как будто мы никогда не встречались.

«Ха! – думает Асенька. – Надо рассказать об этом Лёлочке. Пусть порадуется своей прозорливости». Хотя обе они девушки не злорадные, они не станут говорить кузену: «Вот видишь, Дузя, вот помнишь, Дузя, мы же тебе говорили, Дузя! Мила твоя толстенная корова,

волоокая и медлительная». Когда ее просишь передать сахарницу за чаем, она застывает в недоумении, шарит глазами по столу и, кажется, настойчиво ищет рифму к слову «сахарница». Не станут теперь, как и не говорили тогда, в Киеве. Дузя был влюблен, а сестрички Гринберг, хоть и не без стервинки, но вовсе не ехидные барышни. И кто вообще, будучи влюбленным, слушает юных кузин?

Хорошо, что там дальше?

У меня все по-старому. Ух, как мне надоела эта фраза!

В Киеве посещал в последнее время театры. Был на всех постановках Третьей студии Моск. Худ. театра¹. «Принцесса Турандот» произвела на меня сильное впечатление. В смысле гуляния не могу сказать, что не использовал это лето. Но как оно мимолетно, мгновенно пролетело, Асенька. Больно и досадно. Осень, уже вступающую или начинающую вступить в свои права, встречаешь с такой тоской и неохотой. О зиме и думать не хочу. В Пролетарском саду бывал, но никому приветов не передавал. Твоего златокудрого и среброрукого Феба я не встречал.

Лёле передай, пожалуйста, что дядя Давид разыскивает ее негатив в своем фотоателье. Найдет – напечатает карточки.

Твой, любящий тебя Дузя

Ах, вот как! Он видел «Принцессу Турандот»? А Ася лишь читала о ней в газете «Жизнь искусства»². Бог с ним, с Фебом – светлоголовым Шурой, в которого Асенька была кратко-срочно влюблена и имела глупость сказать об этом Дузе. Был на спектакле еще в июне и ни слова, и молчком, и только сейчас вываливает эту новость как бы между прочим, как бы невзначай.

В комнату врывается Лёлочка:

– Он и тебе написал о «Турандот»?!

– Да, Лёля! Давай не простим его никогда!

¹ 29 мая 1922 г. умер Е. Б. Вахтангов. Почти сразу после этого Третья студия МХАТ отправилась на гастроли в Киев.

² «Жизнь искусства» – советская художественно-литературно-театральная газета, издавалась в Петрограде в 1918—1922 гг. До 1921 г. выходила ежедневно, затем два раза в неделю. В 1923 г. на основе газеты был создан журнал с тем же названием. Журнал «Жизнь искусства» издавался в Ленинграде до 1929 г. Имел приложение – «Программы ленинградских театров». В 1930 г. слился с журналом «Рабочий и театр».

Иса идет в искусство

Невнятно буркнул звонок у двери. Не слишком коротко, чтобы показаться робким, но и не бойко, не развязно. Не почтальон, не дворник, не официальное лицо, частное, но прибывшее по данному адресу впервые.

Иса лежит закинув руки за голову и даже не думает подняться на звонок. Есть прислуга, пусть откроет, пусть работает. Нет, он вовсе не высокомерен, Иса – самый настоящий демократ, не видящий разницы между трудом кухарки и профессора Львова, который вчера поставил ему «не зачтено» по предмету «ранняя античная литература». И теперь Иса недоволен и профессором, и прислугой. Одна – глухая слониха – не слышит звонка, а второй – престарелый педантичный хорек – не стал слушать доводов Исы. Профессор сказал: «Вы, молодой человек, когда-нибудь или сильно раскаетесь в том, что не удосужились изучить Аристофана, или просто никогда не будете иметь счастья быть знакомым с Аристофаном. Я вам предлагаю третий путь – пойти и познакомиться с ним».

Позвонили снова. Уже чуть длиннее, решительнее, ультимативней. Мол, если вы не откроете сейчас же, я могу и уйти. К чему держать прислугу, как нынче говорят, работницу домашнего труда, если ее бестолковая деятельность становится наказанием для хозяев. Да кто-нибудь, наконец, сподобится открыть дверь?! Прислуга должна прислуживать, а профессор не быть нянькой. Хватает Исе и няnek, и мамок, и других – многочисленных и суетливых – «наблюдающих». Ему кажется, что все на свете должно происходить согласно каким-то высшим правилам. К сожалению, неписанным. В бога он не верит, но в правила верит твердо. И если по каким-то причинам правила не работают, то тогда Иса злится, сильно злится.

Снова звонок – и на этот раз это, скорей, прощальное выступление, последняя гастроль, плевков и проклятие – звонок беззастенчиво долог. Мысли прерваны, Иса зол!

– Сумасшедший дом, честное слово! – Иса вскакивает с кровати, выбегает из комнаты и бежит через столовую к прихожей. Но шарканье домашних туфель отца опережает его – тот уже добрался до входной двери, выпроставшись из облака табачного дыма и многолетней пыли своего кабинета. Встретившись взглядами, отец и сын смущенно здороваются. И хоть уже половина четвертого пополудни, но Иса с папашей еще не виделись.

За дверью возвышается пролетарий лет двадцати – крепкий, ладный, такому у станка стоять где-нибудь на Путиловском заводе, а он мнетя тут на пороге и смущенно протягивает в кулаке что-то навстречу старшему Менакеру. Тот не понял, отпрянул сначала, но потом разглядел белеющее, тонкое.

– Письмо вам, – загудел посетитель.

Отец берет крохотный квадратный конверт, глядит на него с печалью, подносит к носу, к самому кончику. Понюхав, говорит:

– Протухли духи. Увы, не мне. Сыну, наверное.

– Сказали, Исе Менакеру.

– Да, сыну.

Порывшись в кармане, отец достает мелочь, ссыпает случайному курьеру в красивую большую ладонь. Тот смотрит на деньги и словно взвешивает, будто раздумывает: брать, не брать. Но взял-таки, зажал в кулаке, кивнул вместо поклона и стал спускаться вниз. Нравилась ему мраморная парадная и широкие подоконники. Местами, правда, зеркала разбиты, но и в осколки видать, какая у него ладная фигура. И вот он чувствует на себе взгляд мужичка-интеллигентшики и точно знает, тот ему завидует. А поставщик униформы ко двору его императорского величества Михаил, он же Мойша Менакер, бывший фабрикант и влиятельный в прошлом человек, смотрит на уходящего пролетария и думает, если тот встанет в проеме, то

загородит собой проход, в случае погрома трудно будет пройти через этого парня. И почему вдруг зашевелилось непрошенное и непережитое чувство?

Отец протягивает конверт Исе и молча уходит к себе. Ни о чем не спросит, вот так папаша! – Иса прячет за злостью разочарование. – Ни почему сын не ночевал дома, ни почему спал полдня.

Иса! Та девушка, которую Вы любите, больна. Будьте осторожны. Кстати, Вы ведете себя слишком вызывающе, на Вас обращают внимание – берегитесь. Если хотите знать подробности, приходите в Екатерининский сквер в понедельник 25 августа в 3 ч. дня к первому фонарю напротив Невского. Не думайте, что это шутка, и сохраните пока в тайне.

И. Ч.

– Я, пожалуй, пойду погуляю.

Отец из своей комнаты отвечает слабо, мол, да, конечно.

Этот звонок давно пора заменить новым – так думает Иса. Он хриплый и дребезжит, он портит настроение, и если в доме гости, если галдит молодежь да играет патефон, если бренчит на гитаре друг Сашка и, не дай боже, сам себе подпекает мучительным для слушателей, хлипким тенорком, а остальные над этим хохочут, то вовсе ничего не слышно.

В саду Иса переминается с ноги на ногу, ждет таинственную корреспондентку и все думает, про кого это она пишет – эта И. Ч.? Ему нравится Минна, ему нравится Бэба, и Леночка нравится, и даже Леночкина мама Софья Андреевна. Кто из них болен и чем? Если чем-то позорным, то ни с одной из них он не был близок, но с каждой хотел бы. Иса ждет еще немного и, не дождавшись, уходит. Глупо стоять тут под фонарем. Глупо было приходиться сюда.

На Невском Иса немедленно наткнулся на Илюшу. Тот шел торопливый, с вечно ищущим поддержки взглядом, которым наделены почти все близорукие люди. Очков Илюша не носит, чтобы нравиться девушкам, и он нравится, но весьма своеобразным.

– Пойдем со мной, – приглашает Илюша.

– Куда?

– К брату.

– Что там? – вяло интересуется Иса. Леня тащится куда-то после того, как он чуть было не выставил себя дураком в Екатерининском садике. Вдруг представил, что пока он стоял там, какие-нибудь злые девочки прятались в кустах и хихикали, глядя на Искино глупое выражение лица.

– Там революция, – заявляет Илюша.

Иса молчит, ждет разъяснений.

– Театральная. Возможно, литературная. И в синемаатографе тоже. Идем! – это был приказ.

Илюшиного брата Лёньку Иса втайне презирал. Это было единственное, чем мог он ответить на унижения раннего отрочества. Строго говоря, никаких унижений и не было, но, как правило, когда головки милых барышень оборачивались в компании на кого-то другого, Иса чувствовал себя уязвленным. Когда-то, на заре дружбы Исы и Илюши, та пара лет, на которые Лёня Трауберг был старше своего брата и его товарища, была почти фатальной. Девушкам нравились юноши постарше, и ничего с этим было не поделать. Язвительная мелочь вроде Исы и пряткий интеллектual вроде Илюши – этот сорт мальчиков девочки придерживали в резерве с искренней надеждой заинтересоваться ими чуть позже. Иса даже хотел тогда вызвать Лёньку на дуэль, да повода не нашлось. Старший Трауберг был учтив, вставал, если в комнату входила дама, не прохаживался, даже ради красного словца ни по чьей, даже незнакомой маме, не употреблял эвфемизмов и не давил на собеседника интеллектом, прощал впадины знаний,

полагая, что обо всем можно прочесть, все изучить – было бы желание. Поэтому Иске, как, собственно, и Илье, ничего не оставалось, кроме как умнеть и становиться язвительней в ожидании своего часа.

Пришли на Гагаринскую, дом №1, вскарабкались на шестой этаж. Два десятка молодых людей стояли друг у друга на плечах, образуя пирамиду. Лёнька и еще один, помоложе, командовали гимнастами. Худой стоял, зажав в зубах спортивный свисток, и сигналил им то коротко, то длинно. А старший Трауберг хлопал в ладоши и периодически выкрикивал:

– Стоять! Ввысь! Хрупко! Плечи!

Повинуясь приказам свистка, живая пирамида преобразилась сначала в звезду, затем в нечто, напоминающее песочные часы, а затем рассыпалась человеко-бусинами.

– Что это? – шепчет Иса Илюше.

– ФЭКСы³, – Илья выпустил из себя слово, как птицу в форточку.

Худого звали Гришей.

– Козинцев, – представляется он, протягивая руку. – Григорий Михайлович.

Лет этому Григорию Михайловичу ровно столько же, сколько и самому Исе – целых семнадцать, но Исаак безоговорочно, раз и навсегда верит, что у долговязого парня есть основания именовать себя по отчеству и ожидать подчинения. Немалые притязания Лёньки Трауберга и этого самого «Григория Михайловича» окончательно проявились, когда Иса прочел брошюрку-манифест «Эксцентризм», подsunутую ему младшим Траубергом. Прочтя ее, Иса немедленно, сию секунду, на этом самом месте захотел стать артистом. Он хочет вместе с Лёнькой, Григорием Михайловичем и примкнувшим к ним темпераментным товарищем Серёжей Юткевичем ниспровергнуть академическое искусство и воздвигнуть на его месте «искусство без большой буквы, пьедестала и фигового листка... искусство гиперболически грубое, ошарашивающее, бьющее по нервам, откровенно утилитарное...» Немного страшно стало за классику, но Ису утешают слова старшего Трауберга:

– Лучше быть молодым щенком, чем старой райской птицей.

Иса впервые в жизни глядит на Лёньку с уважением.

– Да это не я сказал. Это Марк Твен, – улыбается Лёня.

³ Фабрика эксцентрического актера (ФЭКС) – творческое театрално-кинематографическое объединение молодежи, организованное Григорием Козинцевым и Леонидом Траубергом (Петроград, 1921—1926 гг.).

Ася любит ридикюль

У Дузи был плохой почерк. Он торопился, выводил буквы с островерхими шляпками, царапал бумагу, почти ранил ее пером. Но порой, когда он не задавался и забывал накинуть маску эдакого непонятого гения, спасителя, Байрона без Греции и Лермонтова без дуэли, почерк Дузи становился твердым, надежным, как теорема Пифагора, выдавая в носителе прилежного гимназиста. На конверте хорошим гимназистским почерком Дузя начертал: «*В гор. Петроград. Г-ну Е. Д. Гринбергу, Гороховая, 12/20. Для Аси*».

Папа, посмотрев на этого «г-на», цокнул языком и мрачно покачал головой:

– Дузя, Дузя... И врагов не надо с такими родственниками.

– А что такого? – недоумевает Асенька. – Мы носим зонты и калоши.

– Да, носим, да. Но позволь растолковать тебе, а через тебя и твоему тупице Дузе – вслед за почтальоном к господам в калошах навевываются товарищи в кожаных куртках.

Ах, вот на что намекает папа! Скучно. Ася будет носить лайковые перчатки и шляпки, а также ридикюль, подаренный тетушкой из Ревеля, до тех пор, пока они не истлеют на ней. Ася нежно улыбается отцу и упархивает из гостиной читать Дузино письмо.

Она читает. Сердце Асино колотится, выплясывая волнение. Дождь за окном бьет по железному карнизу, выстукивает в унисон сердцу. Учебник по алгебре белеет на столе равнодушным квадратом. А воспоминание о киевском мальчике оседает щемящим облаком куда-то к низу живота.

23/IX 1922 г.

Киев

Ну и свинья же я, Ася. До сих пор не удосужился ответить тебе на письмо. У меня все время было какое-то такое состояние, что неохота было писать.

Перво-наперво, разреши с тобой познакомиться как с семиклассницей. Немедленно сообщи, скольким семиклассникам ты вскружила головы и занесла под свой каблучок? Что-то больно веселые вечеринки устраиваешь! Смотри, как бы ты березовой каши на завтрак не отведала. Не знаю, как бы на это реагировали некоторые киевляне (златокудрые, конечно), которых мне случайно приходится встречать здесь. Тем более что они так надеются на себя, они так похорошели, так франтовато одеты, они такими павами выступают. Носик у них немного кривой да ножки поддуляли, но ничего ведь? Вам ведь, о царица, они нравились еще недавно. Вы в последнем письме просили не приветствовать их, они, мол, недостойны и кивка вашей венчанной головы. Не извольте беспокоиться, несмотря на то, что мы их не раз и не два раза встречали, и каждый раз их чарующий облик приводил нас в восхищение, так и подмывал сказать им что-нибудь тепленькое, мы воздерживались от горячих разговоров, памятуя, что потом, пожалуй, придется раскаиваться – так вы нам голову намылите.

Твое письмо последнее лежит передо мной. Мне хочется спросить тебя, все ли у тебя еще такое «безумное» настроение, как в то время, когда ты мне писала, все ли еще душевный покой твой балансирует на грани? Какова амплитуда его движения? А звуковые волны? – Чьих ушей они достигают? Я не шучу. Я серьезно. В твоём письме последнем уловил ноту печали, нотку волнующих поисков. Ты знаешь, Асенька, я пришел к тому заключению, что переписываться «по существу», по вопросам повседневной обыденщины не стоит. Когда мы имеем близкое соприкосновение физическое, когда мы можем каждую минуту увидеть друг друга и прочесть настроение, душевное состояние одного другого – тогда легко говорить «по существу», т. е. о тех вопросах, которые могут нас захватить в данную минуту. Когда же ты в Питере, а я в Киеве, я совершенно не могу проникнуться твоим настроением, я знаю только себя.

Но поскольку между нами установилась какая-то произвольная духовная связь, поскольку нам приятно знать каждое переживание один другого, малейшую эмоцию – давай будем писать не по общему трафарету.

Давай будем передавать друг другу переживания той минуты, в которую пишешь письмо. Не будем задумываться над тем, кстати или некстати, сумасбродно или нет, глупо или умно – мы будем искренни. Мы будем знать, что наша мысль работала привольно. Письмо – это не разговор. На бумагу ты хочешь перенести только основное, только главное. Ты скуп, когда ты пишешь. Ты задумываешься над тем, чем поделился, а чем нет. Это налагает цепи на мысль. Мы, Асенька, давай предоставим свободное течение своей мысли. И если иногда эта свобода хватит через край, нам это не будет помехой – мы достаточно знаем друг друга. Перед нами открывается новый мир. То, что не скажешь, напишешь, что напишешь, иногда того не скажешь. И мне почему-то кажется, что ты пойдешь на мое предложение. Ты способна пойти. Я потому обратился к тебе, не к кому другому. Мое это письмо ты никому не прочтешь. Твое письмо для меня будет ответом. Первый шаг за тобой. Будь только правдива и искренна, не толкуй моих слов превратно.

Жду, Дузя

1923

Ася. Растет большая девочка

Папочка был раздражен. Он бросил на обеденный стол пришедшую корреспонденцию и заперся в кабинете.

– Если ко мне придут, скажите, что я болен. Смертельно болен и очень слаб. И очень заразен! Скажите об этом обязательно! – крикнул он совершенно неясно кому – каждому, кто подберет его клич.

– Мамочка, что с ним? – Ася перебирала конверты, нашла письмо от Дузи, адресованное ей.

Оказалось, что банк, где служил папа, в который его выписали из Киева, придумав должность специально для его способностей и опыта, распущен на день. Остановилась работа и ответственные денежные операции. И все только потому, что несколько дней назад в перестрелке с преступным элементом погиб девятнадцатилетний милиционер Говорушкин, сотрудник уголовного розыска. Решили вести непримиримую борьбу с криминальными гадами и раздули из смерти Говорушкина целый подвиг. Но у подвига, как у спектакля, должны были быть зрители. По этой причине почти все учреждения центральной части Петрограда свернули свою деятельность и отправились хоронить героического агента 2-й бригады Петрогуброзыска. Ефим Давидович так же был рекрутирован в скорбящие массы и, ежась от брезгливой иронии, рассказывал затем жене:

– В Александро-Невской лавре есть нынче «коммунистическая площадка». Там юношу закопали в землю и поставили над ним фанерный обелиск, обещая вскорости поставить мраморный, и заявили, что будет не хуже, чем у других. Так и написали: «Жертве долга, агенту 2-й бригады товарищу Говорушкину».

– Успокойся, Ефим. Ты ведешь себя странно.

– Почему, скажи мне, почему «жертва долга» погребена рядом с Чайковским?!

– Фима, ничего уже нельзя сделать. Мальчик умер и, слава богу, обрел покой в земле.

– Нет уж, постой! «Не хуже, чем у других» – это не хуже, чем у кого? У Достоевского, прости его господи?!

– Ефим, порадуйся – у тебя случился произвольный выходной.

– На кладбище, Соня, на кладбище!

Краем уха Ася слышала отголоски родительских реплик, но лишь очень краешком. Она уже нырнула в Дузино письмо.

30/I 1923 г.

Киев

Дорогая Ася! И нахал же я. Вот уж сколько времени, как получил твое письмо, а все не отвечаю. В самом деле, когда уезжаешь, кажется, что письмам конца не будет, а когда к делу приходит – пасуешь. Отчасти это можно оправдать: мы ведь занятые люди! По крайней мере о себе я сказать могу, что когда уж имею свободную минутку, то хочется употребить ее скорее на театр или, так сказать... как бы это выразиться... Ну, ты понимаешь, о чем я. Вот на это, а не на письмо.

А занят я здорово. Праздник ли, будний ли день, я ловлю каждую минуту и рассчитываю каждый час.

Собирался к вам на Рождество. Очень хотел увидаться с вами. Пришлось отложить. Уж весной или летом обязательно свидимся.

Я бы солгал, если бы сказал, что скучно провожу время. Не реже раза-двух в неделю бываю в театре. Встречаюсь с девушками, занимаюсь, почитываю, общественной работе уделяю не один час времени.

Но от такого распыления толку не будет. И все на душе как-то не то... Вечно царапающие коготки чувствуются. Ты поверишь, на встрече Нового года, когда я безумно, казалось, был весел, я в тоже время осязал какую-то тяжесть, угнетение. И если бы ты меня отозвала в разгар моего веселья и спросила: «Тебе весело, Дузя?», я бы ответил: «Да, но...» Вот это «но» – это скребущие коготки... И никак не изгонишь, не изживешь их...

Иногда это называют это «метафизикой».

Ты спрашиваешь, с кем встречаюсь я? С людьми, тебе неизвестными. И как раньше – сегодня здесь, а завтра там. И даже еще хуже...

Ася насторожилась. Что означает это «хуже»? Неужели Дузька скатился до... продажных женщин? Не может быть. Ася поехала и представила себе, как это могло выглядеть. Под тетрадь по немецкому как раз пряталась «Яма» Куприна. Они с Лёлочкой читали ее по очереди и, конечно же, в великой тайне от родителей. Ни один из них «Ямы» в руках не держал, но от киевских бдительных родственников хорошо знал, о чем она. И что же, Дузька пошел покупать любовь? Неужели мужчине так нужно быть в женщине? Ее плоть манит его столь настойчиво? Или здесь нужно придумать какой-нибудь другой оборот? Ася не знает таких слов, Ася невинна.

Региной я все же увлекался, когда вы жили в Киеве, а теперь у меня такого чувства ни к кому нет. Так, потолкую, по... и пошел домой без осадка даже...

А хочешь знать, Ася! Мне уж надоело, ну, волочиться, что ли... Я уж хочу увлечься, так чтоб рассудок не вмешивался в мое чувство, чтоб я не оценивал да переоценивал, чтоб светлым, безоблачным взором глядеть на предмет своей любви. Не хочу и борьбы, вечно подтачивающей мои лучшие переживания, я уж устал. Я уж не хочу в один вечер с пятью девушками встречаться. Надоело...

Любви, а не увлечения, волокиты, юбочничества, хочу. Цельного, гармоничного, до недр души захватывающего, а не легкого или даже тяжелого флирта, баловства, пятикопеечного остроумия.

Эх, Ася, так ли ты меня поймешь, как я думаю?.. Не веришь ты мне, вот что! А вот попробуй дать мне женицину, которую я не половинчато бы любил! Был бы я ей верен или нет? А может, я уж не способен на любовь. Может, я уж насквозь пропитан чувством третьего разряда и вечно буду в нем барахтаться и не выкарабкаюсь... не выкарабкаюсь, черт!

Глупости, заниматься нужно. А разве я не учусь? Вот в воскресенье целый день, не отрываясь, над книгой просидел. Да все не то.

Бурлит, кипит, рвется без удержу что-то внутри. Юношеский пыл... оттого я и страстный такой...

Пройдет, испарится, эх, черт!

Если пройдет, совсем пошляком заделаюсь.

Я теперь увлекаюсь одной черненькой девочкой. Цыганка во всех отношениях. Так и загораются глубинные карие глаза от одного прикосновения. Она вся страсть, огонь, голову теряет от одного поцелуя. Пламенная. Если бы я подлецом был...

Надолго ли?

Нет, Ася, уже «нейтрализуется». Она заурядненькая, обыкновенненькая, говорит «все-таки девушка должна быть хорошо одета», мечтает о славе певицы. Она поет хорошо, но не то и не так – все о мишуре. А я с ней имел много красивых минут и разговоров. Я много страсти вкладывал в свои слова, когда говорил с ней. Я не раз уходил от нее с просветленным

чувством. Давно я уж не был самим собой, а с ней был, потому что она непосредственная. Это в ней хорошо, эти минуты незабвенны...

Невероятно! Ася вскакивает с кушетки, делает несколько шагов по комнате. Ах, скорее бы пришла Лёлочка, куда ж она запропастилась! Дузя не просто влюблен, да и не влюблен вовсе... Дузя пытается вызвать ревность в ней, в Асе. Так ли это, или она опять напридумывала с три возка всякой мишуры? Ведь говорит же Лёлочка, трезвая голова, что Ася считает, будто бы каждый мальчик в нее влюблен. А разве не так? Не каждый?

Я же чем дальше, тем больше убеждаюсь в том, что я большой, заядлый театрал. У меня вырабатывается критический подход к пьесе и к игре артистов. Зачастую мое мнение оказывается впоследствии совпадающим с рецензией.

В опере у нас Стрельцов и Литвиненко⁴. Последняя в «Аиде» неотразима. Монска «съехала» в колоратуру и все теперь превращает в трель, и то вымученную. Микишин в верхних регистрах возмутителен: срывается. На днях ставят «Лознгрин». Событие в киевском музыкальном мире. Здесь гастролитрует Блюменталь-Тамарин⁵. Вскоре приедет Воронец и вступит в оперу. В драме – Кузнецов, Вольф-Израэль⁶ и Корнев. Ваши Ходотов⁷ мне не нравится. Больно много невращенности и дегенерации вносит он в игру. Вольф-Израэль я люблю за мелодичность ее голоса.

Целую тебя в глазенки. Можно? Ты почему-то писала, что не разрешишь себя целовать. Почему? За что? В чем вина моя? Но я, боже упаси, не набиваюсь. Хошь не хошь, как хошь. Все равно братский поцелуй, которым все дыры затыкают, да к тому письменный.

Всего, Дузя!

Томила Ася. Росла. Откуда-то со дна поднимались темные ее мечты, и было неясно, кто же их осуществит. Сама она жила в стороне от собственных желаний, будто и желания, и все то время, что предстоит прожить, находились в одной стороне света, сама Ася – совершенно в иной. И ведь ничего эдакого не просила Асенька у жизни – детей, мужа и крепкий дом, но ведь мечталось-то еще и о страсти, о том, чтобы при одном взгляде на нее у «него» мутилось в голове и «он», этот незнакомый еще, неизвестный, бросал к ее ногам сокровища, долг и всех былых возлюбленных. Этот «он» крепко держал ее за мысли. Асенька все представляла, как она с ним познакомится. Скажем, он музыкант. Дает фортепьянный концерт. А Ася сидит в первом ряду концертного зала по контрамарке, полученной от дяди Шлемы. Картину немного портит то, что одеснью⁸ сидит мамочка – она даже в мечты проникает, а слева Лёлочка, но пусть уж сидит, ведь ее все равно придется поставить в известность, так что пусть уж лучше участвует. И вот Ася, блистая сапфировыми сережками, слушает восхитительное исполнение в первом ряду, а музыкант, заметив ее, Асю, уже играет лишь для нее одной. А потом, а после он пошлет импресарию со словами: «Приведи ту девушку из первого ряда».

⁴ Литвиненко-Вольгемут Мария Ивановна (1892—1966) – советская украинская оперная певица (лирико-драматическое сопрано), актриса, педагог. Народная артистка СССР (1936), лауреат Сталинской премии, член ВКП (б) с 1944 г.

⁵ Блюменталь-Тамарин Всеволод Александрович (1881—1945) – актер, режиссер, литератор.

⁶ Вольф-Израэль Евгения Михайловна (1897—1975) – драматическая актриса. В 1919—1922 гг. – в БДТ (Петроград), с 1923 г. – в Александринском театре (Актдрама). Актриса отличалась естественностью в ролях юных героинь, наиболее ярко проявив свой талант в острохарактерных комедийных ролях, была склонна к гротеску и иронии.

⁷ Ходотов Николай Николаевич (1979—1932) – русский актер. Друг, партнер и любовник Веры Комиссаржевской.

⁸ По правую сторону.

Импресарио нагонит ее в холле, когда с мамой и Лёлочкой они будут одеваться в гардеробе. Она, конечно, не пойдет и скажет: «Передайте, что я к незнакомым мужчинам в гримборные не хожу». И уйдет с гордо поднятой головой, бриллиантово посверкивая сережками.

Вторая их встреча будет и вовсе случайной – Ася пройдет в новом пальто с лисою на воротнике мимо Европейской гостиницы, и тут уж он окликнет ее сам. Ася сначала не узнает его, ведь на сцене артист выглядит совсем иначе, но тайный огонь в глазах – он будет тот же. И теперь уж оба поймут, что это судьба... На этом месте Асины мечты обрываются, потому что она понимает, папа никогда не одобрит этот союз, хоть и выдуманный полностью, но такой волнующий. Папа встанет на пути у любящих сердец и пойдет на крайние меры. Какие, Ася еще не придумала – что-то вроде ссылки Аси в Киев или подложного письма музыканту, где якобы от лица Аси будет написано: «Я не люблю тебя, ты мне противен».

Нет, слишком далеко Асенька ушла в своих грезах. Пора остановиться.

А вот и письмо от Дузи. Оно и остановит.

13/IV 1923 г.

Киев

Размахнись рука, разойдись плечо. Коль писать, так писать: всем Гринбергам сразу отхатить. Тебе четвертое по счету письмо, Сюта. Это хотя и будет звучать, пожалуй, анахронизмом, но должен все же сказать: в твоём последнем письме нотки неудовлетворенности, внутреннего брожения я уловил. Безотчетная тоска девушки в 17 лет или что-то другое? Прошло? Ты пишешь, что по Киеву скучаешь. Напрасно: в Питере, полагаю, не хуже, чем здесь. Если ты к нам хочешь, то для тебя, как и для всех вас, в полной готовности распростертые объятия от всего эрэсэфэсердца. Право. А кажись, ты не скучаешь, по крайней мере так в Киеве говорят.

Я теперь занимаюсь довольно серьезно. Шляюсь, дурака валяю тоже довольно серьезно. Но только дурака валяю – ничего серьезного. Балуюсь, балуюсь, а остаюсь неуязвим, неуловим. Еще бы: худой ведь я, верткий, чтоб уловимым быть.

У нас стоят чудные дни. Весна, правда, капризничает, но все же хорошо, в особенности последние три дня. Не сидится дома вечерами: гуляю, целую, милую и т. д. Неприблидный: сегодня с одной, завтра с другой. И имен-то всех не запоминаю. О своем и нашем вообще житье-бытье Лёле написал подробно, конкретно и кратко. Она перескажет. В материальном отношении и в отношении здоровья хорошо.

За нескладность и бедность моего сегодняшнего письма не взъищи. Во-первых, пишу со службы под такт пишущей машинки и под диктовку какого-то доклада ей – этой чертовой стучалке, и, во-вторых, прошлую ночь почти не спал, то есть спал, но не один. Тэк-с... Проговорился...

Пиши мне, Сюта. Обо всем, что только на ум взбредет.

Низко кланяюсь всем, Дузя

Дузя, Дузя, если бы ты знал, как твои откровения издали будоражат Асеньку. Ты пишешь о весне 13-го апреля. В Петрограде сейчас 20-е, а холодно, и снег лежит в прогалинах парков. И верней всего будет так же, как и в прошлом году: сразу, без перехода наступит лето. И никакого «пробуждения природы», была в беспамятстве – и вдруг очнулась. Ах, Дузя, если бы ты знал, как хочется славы. Сразу после внимания мальчиков хочется славы. Может быть, пойти в артистки? Но в этом случае папочка проклянет ее и выгонит за порог. И пойдет она, солнцем палимая, и остановится возле кинофабрики. А там выйдет Ханжонков⁹ и позовет

⁹ Ханжонков Александр Алексеевич (1877—1945) – продюсер, режиссер, сценарист, один из пионеров русского кинематографа.

сниматься в картине. Ох, вот опять грезы. Нужно садиться за физику. Или, может быть, сначала ответить Дузе? И Асенька взялась за письмо.

7/V 1923 г.

Киев

Дорогая Сюша, только что получил твое письмо и уже отвечаю. Это прямо сногшибательно, чуть ли не в ту же минуту отвечать...

Я под впечатлением твоих слов. Нет, не слов, а содержания письма. Не пугайся, золотко, ничего особенного! Попросту я вижу, что ты дурака не валяешь. Занимаешься, гуляешь, костюмированные балы, мальчики, а в будущем университет и языки. Чего доброго, в Италию, Поэспань или благословенную Францию катнешь.

Но, в общем, ты дуручка! Почему ты полагаешь, что я смеюсь над твоими талантами, Сюша! Хорошему я всегда готов верить. Право.

Думаешь об университете, надоела гимназическая скамья, да будет благословенно имя твое во веки веков! Аминь! Вот мое мнение о моей глазастой, курносой кухне: будешь держать себя в лапках, будешь работать над собой, отгоняя мысли о мальчиках, – из тебя толк выйдет, не будешь – «гразный будэшь». Ты с изюминкой, не сгрызай ее в суполоке жизни, а, наоборот, отшелушивай, счищай наросты.

Но я спешу, так что не ищи цельности и последовательности в моем письме. Сейчас родитель сего едет на вокзал. О себе пару слов. Занимаюсь. Сдал два зачета, на днях третий думаю «спустить» (только что пришел из института после сдачи).

В общем, книга остается моим маяком, несмотря на ежеминутные мигания и заслонения света. Такова жизнь, Сюта.

В Киев хочешь приехать? Валяй. Сюта же, ей-ей, валяй! Вот те крест – валяй. Я к вам в июне-июле собираюсь. Это уже определено.

Ой, кончаю, приветствуй всех.

Между прочим, у меня на днях вечеринка. Справляю именины. О результатах сообщу особо. Ну, будь!

Твой Дузя

Позже он приехал. Ближе к августу это произошло. Дузя был и слишком заносчивый, и слишком умный, и слишком быстроходный. Один его шаг равнялся двум с половиной Асиных. Но Асе было приятно ходить с ним повсюду и не везде уточнять: «Это мой кузен». Договорились с родителями, что следующим годом Ася и Лёлочка поедут в Киев навестить родню.

1924

Ася. Испытание Дузей

25/II 1924 г.

Киев

Я хожу под свежим впечатлением от твоего письма. Ты рассказываешь о своих переживаниях после отъезда. Хочу поделиться с тобой тем же.

Я и представить себе не мог, что буду испытывать чувство одиночества (при наличии заполненной деловой жизни) из-за отъезда 17-летней кузины, хотя бы и любимой.

Я не склонен и не хочу сентиментальничать. Но вместе с тем скажу попросту и откровенно: печальные строчки твоего письма так созвучно отражали мое настроение, как никогда, как никогда.

Было бы смешно, если бы я стал говорить, что дом казался мне пустым, что слезы подкатывались к горлу, что мне было невыносимо тяжело. Об этом не говорят, это только чувствуют. Но достаточно того, что я всей душой поверил тебе, что я почувствовал твою искренность. Достаточно того, что неотвязное ощущение пустоты, невосполнимого отсутствия чего-то или, вернее, кого-то не покидало меня долго-долго.

Сознаться, для меня было совершенно неожиданно твое признание: «больше чем к кому-либо относилась к тебе» (ко мне, значит). Мне это было бесконечно приятно.

А теперь предо мной лежит твое письмо. Я испытываю одной рукой шершавость своей бороды, а другой веду карандашом по бумаге. Думаю о злой, строптивой, любимой, хорошей Васюте. Сосчитываю количество вторжений ее маникюра в мою правую руку. Оказывается, десять отражений запечатлелось. Значит, дважды полностью ногти вошли. Вы, друг мой, маэстро по этой части. Опыт и практика. А вы помните, как мы прощались? Мы смотрели друг другу в глаза и видели оба (правда – оба?) какую-то пленку, поволоку слегка мутную в глазах один у другого. А пленка такая теплая, смущающая. Как-то неловко – окружающие, верно, думали, что наши взгляды красноречиво разговаривают. Они разговаривали, Ася? Да! Мы почему-то благодарили друг друга и жали-жали руки этими глазами. Тепло, до боли тепло попрощались.

До свидания, Вася!! Кланяйся, целуй всех, не забывай.

Это так мало говорить в письме, а перенесись в те минуты! Я думаю, тебе было больно, когда ты писала: «Теперь у Вас тихо и спокойно. „Ведьмочка“ уехала, никто тебе не мешает спать, никто тебя не царапает, не мешает заниматься».

Да, Васенька, «ведьмочка» у-е-ха-ла, никто не мешает спа-а-ать, никто не ца-ра-па-ет. Никто... «Кошечка, не пей молочка, не кусай творогу». Эх, Вася, Вася! Ведьма ты, вот что. А все-таки настроила под сентименты. Но ничего, на первый раз разрешается.

Как хорошо ты, Вася, поступила, что сейчас же написала: это меня просто растрогало. Да, дорогуша, ты права, я уже взялся за занятия. Начал подумывать даже о более серьезном. В общем, буду жить разумно и по-здоровому.

Касательно твоего малодушия и отсутствия силы воли разреши на сей раз не говорить. Оставим на другой. У меня сейчас мелодичное настроение.

Теперь, когда пишу, когда на дворе мерный снег падает, когда бабушка по-старчески одиноко что-то к столу готовит, в комнате так тихо и ровно. «Мир и покой». Хочется лениво, задумчиво писать и писать. Хочется думать, что эти пустые, ничего не значащие слова говорят тебе столько же сколько и мне. Мирный, ровный снег. А я думаю об Асе. Как далекая, заглушенная скрипка поет...

*Крепко, сладко целую Сютку в губки (и на безрыбье – ха-ха – рак рыба).
Все-все тиши.*

Дузя

Разве нужно отвечать ему? Разве она может? Заботливое коровье начало в ней беспокоится о житейском, а внутри ноет рана, открывшаяся в Киеве, – нечто среднее между стыдом и желанием.

– Ничего не было, – твердила она Лёлочке. – Просто он стоял очень близко и дышал мне в шею. А у меня мурашки по всему телу и слабость в ногах. У тебя так же с Юзей?

– Юзя не подходит ко мне так близко, – с сожалением признается Лёля.

– Вот тебе раз! Он ведь жених.

– Давай не будем обсуждать Юзю?

– С кем же ты будешь о нем говорить, если не со мной?

– Я вообще не хочу его обсуждать. Ни с кем. Ясно?

– Ясно, – Ася была разочарована. Сами хоть и волнующие, но все-таки мелкие события ее эротической жизни ничего бы не стоили, если бы не возможность переживать их еще и еще раз, рассказывая кому-либо.

Иса. И пошло все к черту

Оно и пошло – все к черту. У отца случился роман. Романы у него приключались часто, но этот, определенно, помотает всем нервы. Иса мучается, тяготится работой в магазине. И хоть это и часть бывших отцовских владений, но жизнь от этого и не веселей, и не содержательней.

– Почему ты не пошел к ФЭКС? – спрашивает Илюша и очень злится на приступы Исаковой тоски по искусству.

– А ты почему не пошел?

– Я пойду. И он не станет делать мне поблажек как брату.

– А я не хочу университет бросать.

– Так и не бросай.

Проще некуда Траубергу сказать так. Ему-то все дается легко, словно и без усилий, а Иса даже английский – родной язык своей мамы – забывает без практики.

– Я не смогу и в университет ходить, и в магазине работать, и ФЭКС посещать.

– Посещать будешь библиотеку, а в ФЭКСе придется пахать как проклятому. Теперь они там занялись еще кинематографом, – Илья говорит о школе своего брата, как о чем-то постороннем. Будто не видит их всех – и преподавателей, и студентов – почти каждый день то дома, то на Гагаринской, не выпивает с ними, не крутит романы с бесшабашными фэксскими девушками. И еще настаивает (черт красивый!): – Шкловский, Тынянов им пишут сценарии. Неужели ты не хочешь участвовать в этом деле? Мы все войдем в историю, запомни мои слова!

Иса думал долго, и посоветоваться ему было совсем не с кем. Отец потерял голову. Мать потеряла покой и, кажется, разум. Сестра, брат и кузены – не в счет, живут торопливо и бестолково.

Вечером, после неудачного зачета по истории искусства Вейдле¹⁰, шел пустым коридором университета и вдруг завыл. По-настоящему, по-волчьи – сначала тихонько, а потом все громче, протяжней, печальней. Выл за жизнь, за вьедливого Владимира Васильевича, за тоску непроходимую и за мечту, которую так и не может сбить в слова. В себя пришел, когда увидел в полумраке мелькнувшую фигурку сторожа. Спрятался Иса в нишу между книжными стеллажами от стыда подальше и от толков.

И вот Иса выходит на набережную и обещает холодному ветру больше не возвращаться сюда.

В марте он уже скакал, кувыркался, декламировал, импровизировал, кричал, кукарекал и шамкал – делал все, о чем просили преподаватели. Читал все, что попадалось на глаза: от былин и сказок до заметок и объявлений в городских газетах. Все прочитанное передельвал в пьески, короткие сценарии и скетчи. Третье марта 1924 года – день поступления в ФЭКС – решил справлять как второй день рождения. Свой членский билет Иса носит в нагрудном кармане, доставая при всяком удобном, а чаще неудобном случае. Он изучил этот картонный обренок во всех подробностях, знал, что типография, напечатавшая его, находилась на улице Восстания, дом №20, и всего было напечатано сто билетов. Опять же, если верить билету, вернее обязательной медкомиссии при приемке в обучение, весит Иса 2 пуда 37 фунтов. Вес цыплячий, людей стыдно, но что поделаешь – года два из Искиного отрочества ели из рук вон плохо, в Петрограде много дистрофиков и рахитных до сих пор множество. Рост упущен в билете

¹⁰ Вейдле Владимир Васильевич (1895—1979) – литературовед, культуролог, историк культуры русской эмиграции. Профессор Пермского (1918—1921) и Петроградского (1921—1924) университетов.

отчего-то, хотя соответствующая графа имеется. Но и рост-то у Исы не рост, небольшой то есть, поэтому, может быть, и хорошо, что забыли указать.

Ася. Разбуженные чувства

19/VI 1924 г.

Киев

Моя дорогая, впечатлительная вихрь-девочка. Ясно представляю твою горячность, пыл и страсть, когда ты переживаешь каждым фибром каждую строчку письма. Я б хотел, дорогая, чтоб ты не разменяла свою впечатлительность, яркость, свежесть на мелочи, побрякушки, платья... мальчика, паркеты и танцы. Пусти себя в русло серьезного «бытия», достойных объектов мысли, самого смысла жизни. В каждом человеке заложена его основная черточка. Чтоб эта изюминка осталась целой, не расплзлась бы мелкими крупинками по пирогу жизни, нужно бережно относиться к ней. Ты направляй свою основную черту – впечатлительность, способность глубоко восторгаться – на хорошие вещи: на книгу, учебник, лекцию и т. д. Правда, Ася.

Я вижу, что Вы сердитесь, Афродита. Но, боже, неужели Вы не понимаете, что одна Ваша морищанка обиды или недовольства способна заставить меня забыть обо всем и стремиться загладить свою вину, если даже ее нет.

Как ты?

Твои цветы я не сохранил, завяли в дороге. Я помню, когда ты мне давала их «на память о той ночи»... Все-таки хотелось наиболее ярко подчеркнуть личное, интимное, только между нами установившееся.

Твои глаза были, кажется, печальны, когда я уезжал. Я больше всего люблю твои глаза. И когда они заволакиваются печалью, смотрят в одну точку – я их тогда больше всего люблю.

Каждый день прихожу домой и ищу глазами письмо на столе. Нет, все нет. Самолюбие твое было поставлено на первый план. Может, ты права.

Как у меня сильна, ну просто физическая связь в Вами! Я еще часто реально ощущаю Вас. «Где вы теперь, кто Вам целует глазки?» Целует? Как у Вас потекла жизнь после моего отъезда? Какой образ жизни ведете? Ты, кажется, думала немножко изменить своей легкомысленности, по-другому построить «бытие». Удалось? Удастся?

А помнишь «Стрелку»? Главное, что отравляло твое сознание, – это мысль о том, что с тобой я как с кухней, между прочим, как и ты со мной. А я вообще часто «между прочим». Это мое горе и радость. Я выплываю всегда наверх, никогда не утопаю совсем. Между прочим...

Но я с тобой был не как с кухней. Ведь ты вошла в меня как Ася, как ТЫ сама по себе. Когда объявил забастовку (не трогать тебя, помнишь?) мне нужно было сдерживать себя, думать над тем, чтоб не прикасаться. А ведь с Лёлей не так. Здесь у меня потребности нет. Мы уже вкусили немного один другого и не разочаровались. А наши беседы, интимные, сближенные! Разве можно забыть? Другая или другие в моей жизни могут существовать сами по себе. Имей это в виду. Тут антагонизма нет, уживается все мирно. И если я даже увлекаюсь сильно, даже если с первого взгляда – это не то, что с тобой. То, что с тобой, не вытесняется и не вытеснится. Мне кажется, ты в глубине души думаешь иначе и не хочешь высказать. Я откровенен. Хотел бы по этому поводу поговорить с тобой.

Уезжал. Не отдавая себе отчета, шептал: «Надолго, надолго...» Потом это кажется глупым. Я как будто что-то с болью, ноющей болью вырвал из тела. Почему я, как безумный, да, как безумный, ронял бессмысленные слова? Почему не понимал, не способен был осмыслить, что говорю? Смотрел, как Вы бежите до конца платформы. Еще, еще минутка. Я буду Вас видеть еще немножко, буду с Вами... А потом поезд завернул за угол. И нет никого – ни Лёли, ни Дани. И Аси нет. Хотел вырвать все. Не смог. И в вагон ввалился как пьяный. Знал,

что спать не смогу, поэтому растягивал. И все думал о Ленинграде. И все не хотел домой. Знаешь, как бывает: хочешь сбить мысль на другую тему, а тебя все неотступно преследует одна. Так и у меня было.

Где Вы теперь, кто Вам целует пальцы?..

В субботу, после приезда, явился к Милочке. Ушел, не просидев и часа. К ней пришли какие-то парни, мне неинтересно было. Просила пойти гулять. Не хотел. Потом были в Межигорье. Она сразу стала для меня маленькой девочкой, непонятно неинтересной. Безвкусной и с прыщами на теле (на шее – дальше я не видел). И больше не пошел к ней. Не знаю, может, временная реакция.

Я вопросов не задаю. Пиши обо всем, как пишешь другу. Не задерживай ответа. Меня интересует каждая мелочь.

Я с тобой. Я глажу твои алебастровые руки, которые люблю. Я смотрю в твои большие глаза, которые люблю. Крепко прижимаю к себе, аж косточки хрустят. И ласкаю, ласкаю.

Дузя

И ничего этого не было. Не было, не было! А как бы она хотела, чтобы было. Ася слабеет. Время от времени впадает в какую-то странную полудрему.

– Передай, пожалуйста хлеб, – просит отец за ужином. А Ася не слышит. А Ася ковыряет вилкой в тарелке и думает об этих хрустящих косточках. – Я сказал: «Хлеб»!

Несколько рук сбились у хлебной тарелки – мамочкина, Лёлина, Данина, запоздало – Асина, переплелись пальцами. Когда сердится отец, остальным надо держаться вместе.

– Где Лёвка?

Все молчат, сейчас каждое слово может оказаться лишним.

– Лёва – это ваш брат, если вы позабыли.

Ася клонит голову к плечу, смотрит на отца с жалостью даже – больно много ему выпало в жизни, но дети у него хорошие: и она, Асенька, и Лёлочка, и смиренный Даня, и Лёвушка, хоть и шепутной, но очень-очень хороший. Все кругом хорошие, поэтому жизни не страшно, и все впредь будет прекрасно.

– Лёва не придет сегодня, папулечка. Он развлекает какую-то барышню.

– Надо полагать, что и барышня развлекает его? – ворчит Гринберг.

– Конечно, – смело улыбается отцу Ася.

Гроза миновала.

2/VII 1924 г.

Киев

И как это так? Это ведь подло. Иду я по улице, всячески абортирую Вас из сознания, загоняю на задворки – насильственно, кулаком, побоями, а прихожу домой, не вижу на столе писем, и мама...

– Нет писем?

– Нет.

И кислая мина, и досадно. И завтра то же. Верить? Если у тебя так же, то верить. По этому поводу пофилософствую еще как-нибудь.

Тетя Соня сильно, опасно больна. Самые лучшие профессора Киева не могут ничем помочь, не могут определить точно болезнь. Знаешь, Ася, они уже предлагают крайнюю меру: операцию, но какую, точно не знают сами. Я пишу, и у меня дрожь проходит по телу, у меня горло сжимает: я вижу тетеньку, у которой желчь по всему лицу разлита, ее исстрадавшееся, такое измученное, изможденное лицо; как она бедная мечется с боку на бок, не спит, не ест. Так больно, если б ты знала. И главное, пойми, ничем помочь нельзя. Угасает, угасает,

на твоих глазах сдает одну частицу жизни за другой, а ты гляди и молчи. Я эгоист, я даже не так часто к тете хожу. Я должен заниматься. Сволочь! Подумаешь, заниматься, а там мой самый близкий человек прет в могилу... Так оно в жизни – «все сволоча». Если бы ты была здесь и видела, что делается у нас, ты и не то сказала бы. Мама целый день в больнице, приходит домой в ужасающем состоянии, веселой улыбки не покажет.

Я занимаюсь, наверное, ничего, как вообще большей частью, а за каждой строчкой мелькнет тетенька, дорогая, бедная тетенька. Эх, если б ты знала...

Я б так хотел, чтоб она выздоровела. Извини, Ася, что я пишу так, ведь это нельзя, но я не могу писать успокоительные письма. С другой стороны, я сознаю, что пишу под влиянием минуты, что не так страшно, конечно, тетя поправится, но пусть у тебя будет моя минута.

«Все мы сволоча». Тут смерть, а там жизнь, тут гроб, а там свадебная процессия. Я думал, что это только далеких касается, а оказывается, и близких. Тут любимая тетя корчится в муках, а там ее любимый племянничек готовит зачеты и идет в еврейский камерный театр. Как это старо, как это вечно. При всяком удобном случае это рады повторять люди. А это всего лишь правдиво, цинично и жизненно. При, гони за жизнью, как она велит, и никаких двадцать¹¹.

Экспансивно и эксцентрично рассуждаю? Даже цинично, правда?

А знаешь, что я думаю? Вот только меня комок душил, а сейчас за этой строчкой буду писать о разных разностях, о житье-е-е-бы-ы-тье-е-е-е-е-е. Только мещане боятся сказать, что у них зачеты и они не могут пойти к тете, любимой тете на смертном одре. Я сдал два зачета, и, кстати, я снова избран секретарем комслужа¹². На службе это очень благоприятно отразилось на атмосфере вокруг меня. Очень рад этому.

Как Минна поживает? Кланяйся ей и другим. Часто и твои пучеглазые зенки стоят передо мной. «Я, я девчонка и шарлатанка. Ты шарбанка и шарлатанка!..»

О чем не написал, запроси.

Целую, целую, Дузя

P.S. Пришла мама и сообщила, что, по подозрениям врачей, у тети или закупорка желчного камня, или злокачественная язва в желудке. Если первое, то она будет здорова.

Ася тут же собралась ехать спасать тетеньку, а главное, помогать Дузе справляться с душевной травмой. Папа немедленно объявил ее безмозглой дурой, а Лёлочка показала письмо Дузи к ней, написанное совсем в ином ключе:

– Ему совсем не так плохо. Хотя тятя, я думаю, умирает... – Лёлочка умела быть беспощадной, сама она полагала, что лишь называет вещи своими именами.

Ася взяла в руки разлинованные листки, заполненные Дузиным красивым, с долей небрежности почерком. За пару лет активной переписки с родными, с киевскими друзьями, да и с самим Дузей, Асенька обучилась одному чудному фокусу – держишь в руках письмо и, не читая, прислушиваешься, о чем оно, в каком настроении был корреспондент, о чем он в действительности хотел поведать. И лишь потом читаешь. Иной раз Ася угадывала настроение автора письма, а иногда подменяла своими девичьими желаниями и ошибалась. Сейчас Ася смятенно ждала хоть каких-то ощущений, но, видимо, с адресованными не тебе, с чужими письмами, а сейчас это было именно «чужое» письмо, игра не складывалась. Да и не игра это была вовсе.

¹¹ «Никаких двадцать» – название жестокого фельетона Михаила Ефимовича Кольцова (1898—1940). Михаил Кольцов – писатель, редактор, журналист, много работал в жанре политического фельетона. Возобновил издание журнала «Огонек», один из основателей журнала «За рубежом», член редколлегии «Правды», создатель журналов «За рулем» и «Советское фото».

¹² Комслуж (комитет служащих) – общественная организация на предприятиях, аналог месткома.

3/VII 1924 г.

Киев

Ну, решили, дорогая Лёля, если никак не удастся написать тебе из дому, давай со службы весточку пошлю. Не знаю, насколько удастся мое предприятие, каждую минуту могут прервать, но «попытка не пытка», я ничем не рискую.

Слушай, я тебе изложу свое мыканье по свету. Встаю в семь часов, отправляюсь до 10—10 ½ на Всеобуч (т. к. таки не избежал этой дряни!), оттуда на службу до 6—6 ½, затем, пообедавши, в институт или на какое-нибудь заседание. Занимаюсь не особенно много. «Служба – паразит учения» – приходится мириться с этим афоризмом. Ты понимаешь, после всех этих перипетий уж не до письма. Сознаюсь, я аскетом, конечно, не живу – и в театр хожу, и изредка с прекрасным полом, так сказать, но сосредоточить мысль на письме нет силушки моей.

Воскресенье? Только последнее я провел дома, а так как вся сверхурочная работа по службе и когда уж сидишь дома, то ты с такой алчностью набрасываешься на книгу, что все остальное отступает на задний план.

Мама так просто возмущается мною: по целым дням я с ней двух слов промолвить не успеваю. Ко всему я еще общественный деятель, с позволения сказать, человек, интересующийся и газетой, и журналом. А это все тоже занимает немалую толику времени. Как видишь, есть оправдывающие мое молчание мотивы. Но это вечная песнь, оставим ее. Я все это говорил не в мое оправдание, а в порядке информации, выражаясь парламентским языком.

В театре бываю довольно часто – и в опере, и в драме. Теперь здесь гастролирует Кузнецов¹³. Видел его в «Чужие» Потапенко¹⁴. Ничего особенного. Но вообще драма здесь довольно хорошая в настоящем году. Есть силы. Что касается оперы, то в смысле декоративно-обстановочности, внешности, она несравнима с состоянием ее в прошлом году. Ансамбль тоже пополнился неплохими голосами, но еще многое нужно для того, чтобы дать о нем положительный отзыв. Оркестр и хор подтянулись, в особенности первый. Смотрел недавно «Летающий балет». Красивая, стильная, страстная и ослепительно-обаятельная картина. Радужные впечатления.

Я писал о том, что у моей мамы рука была больна. Теперь она вполне оправилась. Обшивает себя. Передает привет.

Обнимаю всех, ваш Дузя

– С кем-то из нас он лицемерит? – Ася опрокидывает лицо на Лёлечкины колени и пытается заплакать.

– Нет, родная, – Лёлечка гладит сестру по голове и одаривает комнату загадочной улыбкой пустой, не своей мудрости. – Он просто человек... Мужчина. Одной женщине он пытается понравиться. У другой – вызвать уважение.

– Ненавижу мужчин...

– Не говори так. Ты просто не знаешь еще, сколько радости может муж доставить жене.

Дальнейший разговор кажется Асе бессмысленным. Нет, она очень хочет узнать об упомянутых Лёлей «радостях», но роли, ограниченные «мужем» и «женою», сразу же делают предложенную пьесу блеклой, как отражение в оловянной ложке.

13/VII 1924 г.

¹³ Кузнецов Степан Леонидович (1879—1932) – российский и советский театральный актер, артист театра Соловцова в Киеве, МХАТ и Малого театра, Народный артист Республики (1929).

¹⁴ «Чужие» – пьеса русского прозаика и драматурга, одного из самых популярных писателей 1890-х гг. Игнатия Николаевича Потапенко (1856—1929).

Киев

Мне очень хочется написать Вам, Ася. И хотя у меня завтра 5 зачетов, я все же не могу сдержаться – тянет к бумаге.

Тетя Соня безнадежно больна. Она так же несчастно больна, как и несчастно жила. Ее уже приговорили, но пару месяцев она еще будет мучиться. Мучиться в ничем непредотвратимом ожидании смерти.

Мы будем ее обманывать, мы ничего не скажем ей о конце ее болезни. А она будет говорить: «Вот когда я выздоровею, я вам все расскажу». Нет, тетенька, ты уж нам ничего не расскажешь... Ничегошеньки... Так себе сойдем в могилу... и в муках, и в страданиях бесконечных, неизбывных, как вся твоя жизнь.

У нас в доме печаль и слезы. У нас дома ни в одном уголке нет улыбки. Все беспомощно, одиноко, заброшено, так сиротливо, как осенний дождливый день... Не так, когда ты была у нас. Тогда все уголки чем-то и кем-то были заполнены, а теперь они пустеют.

А мамы никогда дома нет. Она целый день у своей сестры и друга, единственного друга всей жизни, который умирает. Она неутешна. Она так душераздирающе плачет. Ходит и плачет, так жалобно всхлипывает. Дядя Израиль сказал, что тетя Соня оставляет двух сирот – маму и бабушку. Что будет с ними, когда она будет умирать?

Бедная мама, у нее тоже жизнь как по писаному. Кругом двадцать.

Узнайте, лечат ли в Ленинграде внутренний рак радием?

Письмо получили скоро – Дузя так часто никогда не писал. А затем вслед ему долетел новый Дузин вопль. Было понятно, что дело серьезное. Нацарапанное кое-как карандашом, оно было тоже про тетю. Асенька была искренне расстроена. Как и мама с папой и вся остальная родня.

17/VII 1924 г.

Киев

Пишу из лечебницы, сиюзу у подоконника. Солнце. Зелень. Люди. А там желтая, пергаментная тетя. Она прерывает ежеминутно мое письмо: «Пиши, что мне лучше, что с сегодняшнего дня болезнь пошла на улучшение»... И я должен подтверждать, изворачиваться, обнадеживать. Она так верит в свое выздоровление, а мне так не может верить. Асюта, ты только подумай: видишь перед собой любимого, бесконечно близкого человека, знаешь, что это ТРУП.

Что завтра это труп, и говорить с ним, запросто болтать. Ведь вот завтра она со мной не будет разговаривать. Она этого не знает, а я вот знаю и философствую. Нет, слова не даются мне. Никогда не изложишь этого чувства. Боль, бесконечная ноющая боль. Ты никак не сможешь этого понять. Сегодня видеть, разговаривать, не сметь дотронуться до руки, поцеловать, крепко-крепко припасть в последний раз, а завтра больше не знать.

Надежды никакой, но все же ради всего узнайте, как с радием, и сейчас же телеграфируйте.

Всем говорил, что сдам 6—7 зачетов, про себя думал о 10, а сдал 13. Но зато и поработал, силы растратил, колоссальную энергию приложил. 1 ½ месяца жил одной мыслью о необходимости сдать максимум зачетов. Манкировал службой. Но добился своего. Ты представить не можешь, как занятия втягивают. Они превращаются в какую-то азартную игру. Хочешь все больше и больше выигрывать. В особенности если «везет». Сдал не только пустяковые зачеты, но и серьезные, над которыми работать приходится. Нажил себе инфекционную желудочную болезнь, очень модную теперь – колит. Придется еще месяца 1 ½ повозиться.

Три недели уже болен, аппетита никакого, хоть бы три дня не ел. Приписана строгая диета. Профессор Губергриц¹⁵, осмотревший меня, сказал, что у меня очень нервное сердце, но, впрочем, ничего опасного.

Что у тебя? Вообще у вас? Я еще ответа на свое последнее письмо не получил...

Оглянулся назад. Тетя, облитая желчью, иссохшая, костлявая. Она верит, ах, как это ужасно, что она верит. Она говорит: «Кажется, конец». Конец, тетя...

Зовет. Иду к ней.

Будь здорова

Дузя

P.S. Тетенька просит приветствовать. Приветствую от ее имени. Она лично просила...

Целую всех

В тот свой летний приезд Дузя увлекся Минной. Минна умела хохотать так, что люди на улице оборачивались. Абсолютно все без исключения известные Асе взрослые считали этот смех вульгарным. Мужчины поминали каких-то женщин с забавными именами: «Вот и Лулу так же горлом смеялась», «О, помню знал я одну, кажется, Мими ее звали, она хохотала, когда... ну, вы сами понимаете...» Обо всех этих Мими, Сиси и прочих порочных красотках с именами, как собачьи клички, мужчины вспоминали, глядя на Минну, а старшие женщины, лишь стоило зазвучать подобным разговорам, поджимали губы и посылали дочерей к буфету за чем-нибудь ненужным. Но вся молодежь считала Минну смелой, умной и совершенно лишенной условностей. Ася тоже так считала, пока не задумалась, что все это значит. А подумав, стала соглашаться со взрослыми – Минна вульгарна. Она, правда, никогда не посмела бы сказать этого самой Минне – считались они с Асей лучшими подругами, что и льстило, и раздражало одновременно. Так вот в заветную лучшую подругу Минну и влюбился дальний братец Дузя. Ну, и что в том дурного?

Да, Дузя увлекся. Они, появляясь на вечеринках вместе, куда-то немедленно пропадали, оставляя Асю в глубочайшей задумчивости. Минна и Дузя не были предназначены друг для друга, как, впрочем, и ни для кого другого – оба были блудливы и показно-легкомысленны. Ася должна была бы пожелать им большого счастья и еще выдохнуть с облегчением: она ведь и ожидать перестала какого-либо чудесного растворения этого странного ганглия, в который загнали себя разбуженные природой дети – Дузя и Ася. Внезапное появление Минны чудесным образом разрешало проблему, но Асе все равно было обидно.

После отъезда Дузи Минна таилась, не приходила в гости, а потом и вовсе укатила к родне в Тифлис.

25/VIII 1924 г.

Киев

Кочевал из командировки в командировку. Был в Казатине, Фастове, Василькове, после чего возвратился в Киев. Здесь застал уже несколько дней прибывшим твое письмо. Не успел оглянуться, как снова катнул в Житомир и только два дня, как оттуда возвратился. И во всех пунктах обследовал склады.

В Житомир 130 верст ехал автомобилем. Ты представить не можешь этого упоенного вихренного наслаждения, когда в чудную ясную погоду едешь открытым полем или лесом по 60—70 верст в час в открытом авто. Это что-то захватывающее, захлестывающее. Тысяча мыслей бешеных, рвущих, рвущихся, мчащихся, мчащихся – и ни одну не поймаешь, как дорогу,

¹⁵ Губергриц Марк Моисеевич (1886—1951) – академик, один из ярчайших представителей Киевской медицинской школы.

что оставляешь позади себя. А грустно оставлять позади себя дорогу. Она такая быстрая, неповторяемая: завернул – и нет.

Ты, знаешь, Ася, уже осень наступает, уже деревья теряют листья, Ася. А ветер сегодня завывает. Тонкий, дряблый, нудный-нудный – такой тягучий дождь. Темно на дворе. Я сейчас один. Часы и у меня стучат, и в гостиной. А Ася хочет сюда приехать, и уже только для меня, совсем не для других. Я сейчас тоже сильно хочу видеть Асю. Пусть приедет, пусть приедет сюда осенью, и мы оба будем вспоминать о весне... Да?

Когда я был у вас... Почему я ни в одном письме не говорил об этом? Ушло, заклепало. Давно. Давно... ух, как давно. Как бред, как метеор мелькнуло. Фейерверк рассыпался тысячами блесков и догорел. Не блеснет, не прорежет большие неба миллионами звездочек. Девочки на петроградских вечеринках. Стрелка на Васильевском под утро. Эх, пьем. День душит день, и уходит время.

И Минна. Она мне не отвечает. Но это все равно. Я все равно в ней увлекся своим красивым чувством и желанием, а не ее. ...Грустные, слегка опухшие глаза Аси, такие зовущие и задумчивые. «Вот этот цветок в память о той ночи». Я надолго расставался с Ленинградом. Когда я снова увижу тебя? Такую же экзальтированную, горячую, неуравновешенную, как раньше. Я тебя буду ласкать, сделаю тебя горящей, как сам. И мы будем спорить: «Зачем...» Правда? Будем заполнять каждый угол. Досказывать не будем, как до сих пор: кухня и кузен не досказывают. Ведь мы все же в первую очередь товарищи, друзья.

26 августа. Я перечитываю предыдущие строки. Почти как в романе. Манерно получается, правда? А я это невольно: слово следует за мыслью, а не наоборот. Ты не совсем веришь, кажется. Но я не могу изменить строя своих писем – мне бы пришлось насиловать себя и совсем натянуто получилось бы.

Я многое помню и вспоминаю. Но запоминать и ярко переживать прошлое не всем дано. Из литературных типов Печорин, например, отличался сильным неумением забывать. Я, пожалуй, в этом отношении сродни герою Лермонтова. Многого не умею забыть. Остаешься вот так иногда с самим собой и предаешься власти далекого. Время притупляет остроту и силу пережитого: прошлое ровно-ровно вспыхивает, теплится где-то вдали и незримо расплывается, сливаясь со мглой. А на смену новое воспоминание – зовет, истомно манит и вновь угасает.

Женищина для меня – источник радости. Мои мысли пересыпаются ею. Я люблю следить за тем, как она незаметно врывается в мое сознание и кружит голову. Не хочу профанировать, не хочу принижать, хочу сам создавать мир красоты. Это дань молодости, но молодости бурливой, кипучей, не застойной. И пусть быстротечность молодости не сдерживает меня – я хотел бы заполнять каждую минуту. А в молодости молодые минуты, и не нужно их драпировать морщинками мудрости и мнимой тоски.

Мои объекты – бабы, они очень бедны, знаю. Когда подойдешь к ним, к тем женищинам, то зачастую не о чем и говорить или говоришь о вещах, что самому стыдно. Но среди них есть и другие женищины. Я и пробуждаю в них женищин. Я умею развертывать в них все богатства женищины и промотать их до конца. На кровати, на траве, под деревом – а она так же хочет меня, как я ее. Страстно, пылко, жгуче. Мы можем не коснуться один другого, но наше дыхание, наши вынужденные обрывистые слова, придушенные страстью, выдают нас.

И мы с тобой тоже. Мы толкали вспять наши желания, но твои стройные ноги и мрамор рук все же раздражали меня, и тяжело было сдерживать себя. А тебе? Все это теперь притуплено и потоплено во многом другом, но оно еще задымится, воспрянет, ударит по струнам. Да, Ася... А потом опять далеко.

Когда я был в Ленинграде, мне как-то странно было возвращаться к повседневной жизни в Киев. Казалось, что не смогу ходить по узким улицам Киева, ведь они так малы, не смогу взять надолго-долго свой писарский карандаш в руки и диктовать изо дня в день бумажки

машинистке. Не смогу опять возвратиться к набившим оскомину девушкам... А возвратился и взялся. И теперь, конечно, вжился в эту обстановку и больше думаю о бумажке №3721, чем о самом важном в Ленинграде. «Бытие определяет сознание». Я понимаю, будь я дольше в Ленинграде, мне и тамошняя жизнь начала бы однообразной казаться. Но сейчас меня заедает киевская жизнь. Работаю, гуляю и целыми неделями не успеваю думать. Колесо наворачивает, наворачивает, и никак не остановить. Бегу за ним. Ты думаешь, для того чтобы не остаться в полпути? Нет! Сам не знаешь для чего. Само вертит.

Я все страдаю колитом. Похудел невероятно: с приезда от вас потерял уже больше 15 фунтов. Был у доктора, говорит: хронический колит и требует долгого лечения. Где мне следить за собой? Это во всех отношениях невозможно. Подурнел, Сюта. Писал, кажется, что снял волосы. А худоба еще больше дурнит. Девочки недовольны. Боюсь акции падут. Поднимем, если захотим: Госбанк поддержит.

Будет осень. Будет тоскливо как никогда. Небо не будет меня слушать и покроется тучами, вечно грязными и льющими грязью. Деревья меня тоже не послушают и пожелтят свои ветки, отдадут свои листья. Станет пусто, голо, серо, сиво. Буду кутаться, сутулиться и прятаться от пронизывающего холода. Шлепать грязь – гулко, мокро. А потом зима – долго – белая. И уйдет бесцветное время. Мы не возвратим его, Ася. Никак. И отсчитает нить жизни двадцать три. 23 по эту сторону. И в эти 23 я только секретарь комслужбы с видами на понижение. Потонул в мелочах. И закисну, завязну, как все, как 999 из 1000. Потому что я как все. Меня только гложет властолюбие, тщеславие. Но объективно я маленький человек, идущий по проторенной дорожке и применяющий те же методы борьбы, что и другие.

И промелькнет молодость, как путевой пейзаж. Позади книжечка с веселыми и печальными картинками, впереди жена, дети и лысина. Да-да, так оно, Ася. Я рассуждаю глобально, но шаблонно – не вытравил.

Когда-то в ранней юности я думал, что у меня есть огонь, горение, но я боюсь людей и прячу его. А теперь я уж и не боюсь, и не прячу: у меня попросту нет ничего.

Но я «мыслящее существо». Когда задумываюсь, ловлю себя на пустоте, отсюда меланхолия, пессимизм. Это в основе. Знай это, Ася. Ну, на этот раз я себя разволновал как никогда в переписке с тобой.

Я пишу уже часов 5—6. И писал бы еще. Но лучше довольно.

Теряя терпение, Ася бросает письмо на кровать.

Нужно успеть привести себя в порядок перед вечеринкой. Доучить параграф из истории и привести себя в порядок. Там будет Минна, и Асе нужно выглядеть в сто раз лучше любимой подруги.

22/X 1924 г.

Киев

Твое последнее письмо, Васюта, действительно несколько удивило меня и озадачило. Что-то нервное, неуравновешенное, экзальтированное, ни одной мысли до конца. Как это понять? А тут еще намеки «влияние человека», «не знаю, что со мной»... Что сие означать должно? Блудно и непонятно.

Я теперь, вот уже 2 дня, сижу дома – болен ангиной. Пользуюсь этим, чтобы написать. А то в последнее время приходил домой только обедать и спать, до того занят был. Много

воды притекло с тех пор, как я тебе не писал. Как там у вас с наводнением?¹⁶ Я бы хотел все подробности об этом, а ты ограничилась маленькой открыткой.

По правде сказать, ждал от тебя подробного письма вообще. Не дождался очевидно... Кто из наших знакомых пострадал от наводнения и чем? Как оно началось? Знали ли ранее?

У меня тут много жизни. Работа на службе невероятно усложнилась: по 3—4 заседания или собрания в день. Интересно, но только я б хотел все это на производстве проводить. В институте сдал в последнюю сессию: 5 зачетов. До окончания осталось еще 12. Если разрешат, я к январю буду кончать.

Прошел уже чистку. Официально результаты еще неизвестны, но товарищ, близкий к «высшим кругам», сказал, что я не «абортирован». Как с остальными будет, не знаю...

Строю перспективы будущего. Больше чем когда-либо! Окончу институт, тогда либо в партию и на производство, либо в армию. В Нефтесиндикате вряд ли останусь.

Как с твоей поездкой в Ревель? И вообще с планами? Может, письмо мое тебя в Ленинграде не застанет? Перешлют.

Что в компании подельывают? Минна в частности?

Ну, целую тебя. Приветствую всех

Твой Дузя

¹⁶ Наводнение 23 сентября 1924 г. в Ленинграде считается вторым по своей силе после потопа в 1824 г. Для города это имело катастрофические последствия: не считая ущерба строениям и имуществу ленинградцев, затопление погубило около трети всех насаждений и вырвало с корнем сотни деревьев.

1925

Ася. К черту Дузю!

А вот теперь он ее взбесил. По-настоящему разозлил, превратившись вдруг в средоточие чопорности. Он поучает Асю, он высокомерно нравоучает, раскладывает свои моралите, как записной проповедник откуда-нибудь из Винницы томики Святого Писания на консоли молящихся. А разве он имеет на это хоть тень права?! Никакого права! Мерзкий Дузька! Дурной и неблагодарный! А она-то мучилась необъяснимой виной за то, что понравился ей белокурый и голубоглазый Исанька Менакер на одном шумном праздничке. Понравился больше, чем остальные, что означает, дольше, чем на остальных задержала на нем Ася взгляд под тяжелыми веками. Ася разрывает письмо и бросает половинки на пол.

Не с кем даже посоветоваться по поводу мерзкого Дузьки. И Лёлочка хандрит. Доктор говорит, что нужно окружить ее тишиной и покоем. А какой еще покой, они и так все на цыпочках ходят мимо ее комнаты. Маме такого не расскажешь. И Ася поднимает листки, складывает их на столе и с омерзением перечитывает.

15/VII 1925 г.

Киев

Вот выдержки из твоих писем

«Я изменилась сильно... к худшему. Ты бы меня сейчас не любил бы...». «Стала задумываться, чтобы прокатиться в Ревель... Есть там много нужд в смысле обмундировки, так что было бы очень кстати пополнить свой гардероб заграничных вещей». «Все время жила безалаберно». «Бывало, раньше мой девиз был «не уступать» – и как много горя я пережила... теперь не то» и т. д.

Меня это возмущало. Я, несмотря на то, что говорил, что Ася по наклонной дорожке пошла, смотрел на нее как на серьезную вдумчивую девушку.

А тут цепь твоих писем. Проверь у себя в памяти – прежде ты мне таких не посылала.

И рядом о «подумывании» о поездке в Ревель для обмундирования, ты пишешь о том, чтобы учиться мастерству белошвейки. Ремесло иметь. Это звучало фальшиво. Меня взорвало в отношении к близкому, родному мне человеку.

Я написал ему свои мысли.

Если я на минуту применил какую-либо фразу к вам вообще, то я был неправ. Признаюсь в этом. А в отношении тебя я имел основания резко реагировать на подобные письма.

Если ты вынесла на обсуждение мое письмо и кому бы то ни было рассказала (тем более папе) – ты поступила нехорошо.

Я с тобой разговаривал в этом письме, а не писал.

Вышло так, что будто бы я непогрешим, а вот ты каяться должна передо мной, твоим наставником. Между тем грешков немало и у меня. В особенности насчет поведения, конечно, Ася, я такой же смертный, как и все вы. Да, Ася, я был слишком резок и груб. Так с друзьями не общаются, в особенности если связей с ними порывать не хотят... Но и ты должна понять, что у меня были основания для такого настроения в отношении тебя (только тебя).

В «иную категорию людей» я себя не ставлю по развитию в сравнении с вами. Это неправда. А политич. убеждения у нас разные – и в этом отношении я принадлежу к другой категории людей, нежели вы. Здесь, конечно, есть большущая разница между нами. И о ней я вправе говорить, несмотря на то, что не прочь (совсем не прочь) покутить... Это не значит, что я себя ставлю выше вас. Отнюдь нет. Я, кажется, никогда не давал повода так думать

обо мне. А ты пишешь, будто я себя считаю не простым смертным. Ох, еще каким простым, обыкновенным...

Если я когда-нибудь говорил о разнице между нами, то, снова подчеркиваю, только в области полит. убеждений.

Вот и все...

Если хочешь и можешь, будем считать вопрос исчерпанным...

Если ты считаешь, что хорошие, дружеские отношения не могут восстановиться между нами и ты друга потеряла – тогда вот это мое письмо будет последним.

Если ты в чувствах, переживаниях своих не нащупываешь таких, о которых бы по-родному, по-близкому могла бы поделиться со мной, как когда-то, то, конечно, мы должны прекратить наше общение. Если ты не веришь больше мне, если думаешь, что не так пойму, как хочешь, что у нас слишком разные жизни – тогда точка...

А если можешь, вспомни прошлое, перебери его в памяти, приди ко мне, вспомни наши хорошие минуты – мы ведь могли, бывало, близко-близко слиться – и тогда... ответ на письмо мое тотчас же после получения его...

И ответ уже о настоящем, как будто мы возвратились к старому.

Твой Дузя

Иса. Между девочками

Иса не умел скрывать своих чувств, но умел их подменять. Смятение – раздражением, страх – отчаянной иронией с агрессивными нападками на собеседника. Не сам Иса подменял, а что-то живущее внутри него и помимо него превращало одно в другое. Внутренняя эта алхимия привела его к успеху у слабого пола, который всегда тянется к заносчивым и жестоким мужчинам с разбитым сердцем. Ведь каждая надеется залечить его раны. Внимание это, конечно, льстило, но лишь на поверхности, ведь внутри у двадцатилетнего мужчины жила постоянная дрожь, необъяснимое беспокойство без повода, без назначения. Ведь не было, не могло быть никакого разбитого сердца. Думая о своих страхах, Иса протаскивал себя через все годы и приводил к порогу первых воспоминаний, за которыми восходила лишь высоченная стена темноты. Временами казалось, что это вовсе не стена, а море – всегда черное, всегда ночное. И что, если ты хочешь получить ответ хоть на какой-то вопрос, ты должен кинуться в это море бесстрашно, переплыть его – и там, на том берегу, где вечный предзакатный жемчужный свет, ты узнаешь все ответы, ты увидишь наяву то, что тревожит в неясных снах. Обычно на этом месте размышления Исы резко прерывались, потому что даже в воображении перспектива плыть в море вызывала в нем ужас, грозящий перерасти в панический взрыв. И чтобы этого не произошло, Иса злился. Злость была универсальным средством борьбы со страхом. Она не лечила, нет. Она подменяла. Теперь еще ко всему прочему, черт возьми, Иса начал бояться воды.

Очень влюбчивый Исаак злился почти постоянно. Или можно сказать так: почти постоянно зло шутил. Испытывая чаще всего странную помесь брезгливости и заинтересованности, он хотел женщин и одновременно презирал их. За что, он и сам не понимал. За податливость, за навязчивость, за слабый ум, за ограниченность желаний – за все. Но вот Ася Гринберг, но вот с Асей Гринберг, но вот об Асе Гринберг... Исе временами казалось, что Ася Гринберг не девушка вовсе, она какое-то иное существо, определить которое словами почти невозможно. Необъяснимо ныло в солнечном сплетении и тряслось что-то между ребрами, будто там кто-то натянул струны, и пело глухой красивой нотой всякий раз, когда Иса смотрел, как Ася Гринберг шла по улице. И злость, рвущая его изнутри, страх, обглодавший, кажется, каждую его косточку, отступали. И делали безоружным. Но Аська дурила ему голову, как и многим другим. В их ряду Иса мог бы запросто затеряться, ведь он был безоружным.

Фаня возникла на горизонте будто бы ниоткуда. Но Иса дураком вроде бы не был – прекрасно понимал, что еврейская родня, супротив английской, хочет женить его на хорошей барышне из провинции. И вот, словно по мановению волшебной воли, является эта самая Фаня – «добрая идишистская девушка из надежной семьи». И если, следуя логике родни, глухая провинция – храм и крепость великих и грозных заповедей, то Фаню можно было смело записывать в комиссары замшелого и отжившего свой век традиционализма.

Фаня уродилась всем хорошей, но всего в ней было мало Исе – и образования, и тонкости, и даже красоты мало. Нужно что-то еще. Что-то еще... Правда, Илюша Трауберг решительно рекомендовал ее, таинственно ссылаясь на свой положительный опыт с этой Фаней, как некогда с Шосей Трошкиной.

Фаня помаячила в Ленинграде, перезнакомилась со всей честной компанией Исы и всем вроде бы понравилась. А почему нет? Доброжелательная и спокойная, она стойко сносила шутки и умела печь пирожки с капустой. Иса был приставлен к Фане для сопровождения в театр или в концерты, а его тянуло на паркет, танцевать с Асей Гринберг фокстрот, чарльстон и танго. От Аси шел умопомрачительный запах, от этого запаха Иса то слабел ногами, то приходил в такую ажитацию, что не мог заснуть ночью. Это не означает, что он не злился

на Асю. Она частенько раздражала своими категоричными заявлениями о том, как *должно быть* уложено в жизни, как должно быть *правильно в жизни*. Но она так пахла, что бессонные ночи Исы превратились в безумные судороги поллюций.

А Фаня пахла немного унынием, немного кухней и чуть-чуть чернилами, и этого сочетания было достаточно, чтобы в воображении помещать ее не дальше сундука в передней. На этом сундуке Фаня дала себя поцеловать несколько раз и расстегнуть пуговицу-другую на платье. Там же она проявила недюжинную выдержку, когда Иса приложил ее ладонь к своим брюкам. Фаня не смутилась, словно делала это множество раз. Ладонь ее не проявляла ни любопытства, ни самостоятельности, а терпеливо ждала, пока плоть Исы не отвердела настолько, что уже не помещалась под ладонью. А потом Фаня уехала. И на «ты» они не переходили.

3/XII 1925 г.

Сычевка

Вот, Иса, я и в Сычевке. Странно теперь смотреть на маленькие дома, на пустынные улицы, которые освещаются одним тусклым фонарем. Скука здесь ужасная. В 8 часов вечера абсолютно все вымирает. Ни кинематографа, ни театра, ничего. Даже людей в полном смысле этого слова нет. Не знаю, если все время будет такое отвратительное состояние, то, пожалуйста, большие недели здесь не пробуду. Приеду обратно в Ленинград.

Иса! Страшно хочется видеть Вас.

Перед отъездом я звонила, но Вас там не было, хотя я позвонила поздно. Хотелось остаться еще на несколько дней, но уже нельзя было. Ведь я из-за Вас просидела в Ленинграде, после присланной из дому телеграммы, целую неделю, если не больше.

В дороге простудилась, два дня пролежала в постели и поэтому не могла Вам написать раньше.

Фотографию пришлю в следующем письме, потому что сейчас все мои вещи у Али, а она уехала, дня через 3—4 придет.

Как вы живете? Что у Вас нового? Думаю, что Вы скоро напишете.

Фаня

Иса устраивал Фане выволочки в письмах, которые, если проверить, совпадали то с отказом Аси пойти с ним на танцы, то с резким ударом кольцом по пальцам: «Не смей расстегивать эту пуговицу!», то с ее недомоганием, связанным с месячными кровями, которое сама Ася называла «мои внезапные гости». Все это портило Исе настроение на дни вперед, признаться себе в том, что он всего лишь мужчина, которому некая барышня отказывает, оценив свои интересы выше мужских, он не мог. Физически не мог, одна эта мысль вызывала боль в желудке. Конечно, он напал: — Ты, Ася, меня не любишь! — кричит Иса и от морозного воздуха, полоснувшего по бронхам, кашляет.

Ася не отвечает, улыбается.

— Не любишь! Это не любовь, это просто предпочтение.

Ася улыбается — соглашается, наверное.

Иса смотрит на нее и больше не может смотреть. Еще несколько секунд, и он ударит ее — от любви прибьет. Это нельзя — так улыбаться. Иса отворачивается от Аси, стоит некоторое время спиной к ней. Но она не дотрагивается до него, хотя вот она — спина, и плечи, и трогательный Искин затылок. И даже когда он уходит, она не пытается его остановить. Уходи, Иса. Пожалуйста, Иса. Иса уходит.

Фаня этого всего не знает, исправно пишет, пытаясь найти разумное объяснение поведению своего переменчивого корреспондента.

Иса вертит в руках конверт из Сычевки и, еще не зная содержания письма, раздражается заранее. Раздражается даже тому, чему, казалось бы, нужно радоваться – в прошлый раз она неверно написала его фамилию, и он не спустил, указал на это. Теперь Фаня выправилась, во всяком случае, на конверте все было указано точнехонько, и прицепиться Иске было не к чему, если только не к почерку Фани, который нервирует только потому, что это почерк Фани.

7/ХІІ 1925 г.

Сычевка

Иса! Простите за неправильно написанную фамилию. Поверьте, что это была только ошибка. И Вы, так же как и были, останетесь не Минакером, а Менакером. И беспокоиться об этом не стоит. Про маленькие дома, про тусклые лампочки я писала вовсе не с той целью, что бы Вы меня «немного пожалели» и выслали в Сычевку лампочку в 1000 свечей и построили для «меня специально целый ряд больших домов, когда разбогатеете». Уж не настолько я глупый ребенок, чтобы мне писать такую чепуху.

Советы Ваши насчет «послушных дочерей» можете оставить для кого-нибудь еще. И какая я дочь есть по отношению к моим родителям, это мое дело. Потом, что за глупости Вы пишете о бумаге, «предусмотрительно» мной не исписанной? Какая ерунда! Просто не обратила внимания на клочок оставленной бумаги. Мне прямо дико. Честное слово, Иса, это непохоже на Вас!

Советовала бы Вам еще поискать в моем письме грамматических и синтаксических ошибок, тогда еще больше могли бы растянуть свое письмо. Поверьте, Иса, что хотя Ваше письмо и очень большое, но по содержанию не лучше моей «писульки» (как Вы назвали мое письмо). Если из Вашего письма вычеркнуть все Ваши насмешки и наставления, то в нем не останется и одной целой страницы.

Да, что смешного Вы нашли в слове «страшно», которое было написано в моем первом письме и которое вы подчеркнули двумя чертами в своей фразе: «Мне тоже страшно хочется Вас видеть»? Вы мне это, конечно, объясните.

Очень неприятно, что у Вас только за «последнее время» появилось желание повидать меня. Вы даже об этом пишете, как о новости: «Нового у меня ничего нет, разве только то, что за последние дни появилось желание, если не повидать Вас, то, по крайней мере, получить фотографию». Это Ваши подлинные слова. Спасибо за откровенность. Это очень хорошая черта.

Очень скверно, что у Вас неудачи со службой, а вот еще и пальто потеряли. Как, как можно было потерять пальто?! Но ничего, Иса! Не унывайте, женитесь на богатой (Вы как-то сами говорили, что ищете богатую невесту), тогда будет и новое пальто, и не нужно будет заботиться о службе. Было бы очень хорошо, если б у Вас сейчас оказалось в наличности «свободное время» (а то ведь вы человек очень занятой), чтоб вы мне написали. Только не нужно забывать, что Вы пишете не такому уж «глупому ребенку». Поверье, что этот ребенок тоже что-нибудь да смыслит. А Ваше письмо оскорбительно не только для чуть смыслящего человека, даже для самого глупого. Надеюсь получить не такое письмо, как первое. Постарайтесь, Иса, написать как можно поскорей. Я очень нетерпеливая на письма.

Скука ужасная, настроение отвратительное. Единственное развлечение здесь зимой – коньки. Днем каток, а вечером сиди и зевай. Читать надоедает и деться абсолютно некуда. С удовольствием посидела бы сейчас в Вашей «тусклой комнатке». Да не тут-то было. Ничего! Немного потерплю, а потом опять прикачу в Ленинград. Аля еще не приехала, а потому фотографию прислать пока не могу. Пришлю после.

Желаю успеха по пути к службе, а если это не удастся, то в поиске богатой невесты.

Жду письма, Фаня

«Женитесь на богатой!»! Это кого она имеет в виду? Конечно, себя. Да, он умудрился оставить пальто в Летнем саду, бросил на скамейку под себя и под нее, чтоб не холодно было сидеть, и забыл – встали, пошли заболтавшись, пальто осталось на скамейке под не слишком бдительным взглядом мраморной аллегии Мореплавания. Ну и что?! Какое до того дело посторонней девушке?! Ах да, он сам ей написал об этом. И, не имея возможности описать последующее, ограничился обычным ворчанием.

Он не писал о том, как они спохватились возле Михайловского замка, потому что даже в толстом лыжном свитере Иса стал заметно трястись от холода. Смеясь, они бегом вернулись в сад, но рассеянная «мадам Навигаторша» не уберегла Искино пальтишко, кто-то успел уже прибахлеться за счет Исааковых английских родственников – ведь именно их манчестерской мануфактуры сукна было построено ладное изделие.

Тогда Ася погрозила пальчиков статуе и сказала:

– Не хорошо себя ведете, мадам, обидели моего Исаньку.

От «моего Исаньки» и Исы какой-то пузырек в сердце лопнул – стало тепло и страшно. Но потом она свернула к шутке, как пьяница к трактиру, и тепло в сердце всосалось в страх божий.

Положение Исы непоправимо – так считает сам Иса. Невеста есть, и даже богатая, но вот беда, кроме него самого, нет ни единой души, кто бы считал Асю хоть сколько-нибудь подходящей партией для голоштанного студента-киношника, подрабатывающего в галантерейном магазине. Фаня всего лишь ядовито пошутила, но попала в болезненную точку.

А если не она, не скверная девчонка Сютка, Чижик, Васюта, Ася? Если не она, то получается, что Исе останется сычевская Фаня? Так и будет представлять ее знакомым: «Вот Фаня, моя жена из Сычевки»? Воображение Исы немедленно складывает гримасу задумчивого удивления на лице Козинцева, а затем кутает ее тихим голосом Григория: «Из Сычевки? – Из Сычевки. – Как интересно». А Фаня-то невеста богатая и без дураков. Можно жениться на Фане, чтобы покупать Асе дорогие подарки. Что, интересно, скажет папаша Гринберг, когда дочь придет с бриллиантами в ушах, купленными на деньги другой женщины?

Нет, жалко Фаню. Жалко, жалко, жалко. Путь она и провинциальна, но не дурна и не глупа. А вот Иса глуп, а еще и зол. Оттолкнуть бы Фаню, сказать бы гадость, чтобы сама обиделась, но сил не хватает остаться самому, нелюбимому никем. И злость безотчетно прорывается, и строчки несутся по странице колючие, рваные, слова выскакивают подлые. Иса понимает, что несправедлив, но кому еще отомстить за Асины выкрутасы.

Милый маленький друг из большого города!

Наконец-то от Вас письмо! Я уж думала, что и не получу ответа на свое злое послание. Вы пишете, что я подошла к прочтению Вашего письма не так, как Вам бы этого хотелось. Очень может быть, но все-таки там было достаточно того, что могло бы не только обидеть, но и даже оскорбить. От души рада, что это не так, как я думала.

Иса! Какой Вы все-таки странный. Вот Вы пишете: «Я не думал, что мне придется переписываться с Вами по какому-то установленному трафарету». Конечно нет! Я этого трафарета вовсе не думала устанавливать. Очень хорошо делаете, что пишете в зависимости от настроения. Но Вы мне писали первое письмо, в котором все было написано шутя. А второе было злым. Вы и разговаривали со мной всегда шутя. Знаете, как говорят обыкновенно с забавными детьми. Очень хороши, Иса, шутки, но не всегда. И еще в зависимости от того, какие шутки. Правда?

Ну, а вообще Вы очень-очень хороший. Вовсе не то, что говорили про Вас очень многие Ваши знакомые, хоть я и тогда вовсе этому не верила. Вы проще и лучше всех остальных, кого я знаю в Ленинграде.

Вот Вы, Иса, спрашиваете, почему я обижаюсь, когда Вы мне говорите о том, как Вы ко мне относитесь. Потому что, мне казалось, что Вы это говорите шутя. Откровенно говоря, мне и сейчас так кажется.

Почему Вы не задали мне всех вопросов, которые хотели задать, опасаясь, что превращаете свое письмо в «сборник вопросов»? Нет! Я сержусь только за оскорбительные шутки, а за вопросы никогда! Задайте мне их в следующем письме.

Мне очень странно, как это могут надоесть театры и кино. Я бы уж лучше согласилась: пусть надоедают театры и кино, чем постоянная скука. Вот Вы не понимаете, как это противно, когда деться некуда. В Ленинграде этого нет, а здесь все время так. Утром встаешь, спишь по дому или читаешь, а вечером ходишь с кем-нибудь по городу, если его так можно назвать. За два часа можно весь город обойти. Единственное удовольствие – каток. Иногда уйду кататься часов в 5—6 вечера и пропадаю там до 11—12 часов. К великому огорчению моих родителей, которые находят, что я в Ленинграде похудела. Хотя здесь уже поправилась. Многие сычевские знакомые мужчины и мальчики, «обожатели», как вы их называли, находят, что я стала интересней во всех отношениях. Это меня очень радует. Мне кажется, что никто так сильно не хочет быть интересной, как этого хочу я. Зато говорят, что я стала не такая живая, как была раньше. Вот видите, мой милый маленький друг (хочется, чтобы были большим), я с Вами откровенна. А откровенной я бываю с немногими людьми.

Почему Вы спрашиваете, пошли ли впрок Ваши «уроки»? Такие уроки у меня бывают очень редко и очень с немногими «учителями», и притом учителями, которые мне далеко не безразличны, как, например, Исаак Михайлович. Понятно?

Иса! Мне хочется иметь Вашу фотографию. Пришлите мне ее. Я думаю, Вы исполните эту просьбу? Мама скоро обещает отпустить меня в Ленинград. Наверное, скоро увидимся. Я тоже очень нетерпелива, поэтому пишите мне как можно скорей.

Жду письма, Фаня

Ася + Иса. Первое расставание

А Аська уехала. Укатила, проклятая, в свой Ревель! И приспичило ведь ей – собиралась обновить гардероб и пройти какое-то там медицинское обследование. Но Иса знал точно, это старшие Гринберги решили услатить ее подальше от Исы и от всей их компании. Понимает костное старичье, что между ними назревает что-то важное, вот и мешают изо всех сил. Иса точно знает, о чем они думают: надеются, что там в Ревеле, в распроклятых Европах, Асюткина тетка подыщет девочке верную партию из эстонских евреев или, может, рижских, или варшавских, а еще лучше – сразу берлинских. Они – берлинские, и зажиточней, и образованней. Куда ему, бедному полукровке, мечтающему о кинематографе, куда ему получить одобрение Ефима Гринберга, бывшего биндюжника, сколотившего состояние и поселившегося в Киеве на самой главной и широкой улице.

И хоть не собирался Иса в свои двадцать обзаводиться семьей, но мысли иногда бродили-бродили, да и выныривали возле воображаемого алтаря. Но тут на горизонте появлялась грозная фигура старшего Гринберга, который ни за что не отдаст красавицу-дочь за маленького – ни росту, ни силы, ни твердости – Ису. Ни за что, ни при каких обстоятельствах. Но с другой-то стороны, почему все же нет? Чем больше вопросов рисовалось и возникало препятствий, хоть и мнимых, тем серьезней Иса задумывался о вероятности женитьбы. И, действительно, чай, не крепостное право, двадцатый век на дворе, и революция делалась не для того, чтобы прятать дочерей за дверями, как золото за плинтусом от советской власти.

В конце концов, и сам Иса не в помоях найден. Маман его из не успевших обрусеть англичан Стэмпов, даже говорит еще с акцентом. И на ее-то «приданые» денежки папаша сумел организовать предприятие и шил для Зимнего – от ливрей до поварских курток. А когда началась Мировая, то сумел получить подряд на военную амуницию. За взятку, конечно, но кто теперь вспомнит? Папа хорошо распорядился маминым приданым, но маме не нравилось, что муж не жалеет ее во время частых мигреней и не хочет переезжать в Европу. Дети – Дженни, Джозеф, Альфред и Флоренс – могли бы продолжить там образование и вообще стать людьми. Но муж противился, больно хорошие деньги наворачивала война. А потом «пришла беда» – так маман называла приход Октября.

Перво-наперво большевики отобрали предприятие – ателье и магазин на первом и втором этажах длинного дома на Мойке. И мама закинулась в ужасе. Ну и, конечно, этажи выше, которые папаша обычно сдавал внаем приличным людям, – их тоже отобрали. Оставили, правда, им квартиру, так и пролегающую через весь этаж – третий. Больно много было народу у Менакеров. Можно было, конечно, и уплотнить на пару комнат – другие вон всемером ютятся в одной комнатенке, а из графьев, между прочим. Но Менакер, еще не потерявший энергии сопротивления, дал взятку домуправу и далее платил исправно, пока власть была смутной и вибрирующей. Но папаша сдулся через пару лет. Большевики не ушли, частную собственность отменили, а когда припустили НЭПа вокруг, он уже, кажется, испустил свой предпринимательский кураж, как иные дух в теле, а потом увлекся архивной служащей городской библиотеки. Полюбил ее и ушел к ней жить. Мама из Стэмпов была верна английской сдержанности и только, бывало, изредка срывалась, почему-то непременно на людях, в гостях.

Да, пожалуй, старший Гринберг в чем-то прав, будь Иса Асиным отцом, он тоже не желал бы породниться с такой странной семьей. Ах, уехала Асенька.

Проводив ее, а провожали большой компанией, Иса растерялся. Что же теперь? Понял, что не может оставаться один.

– Саша, пойдем в кино!

– Пойдем, Иса, – отвечает друг Сашка Рыжий.

Пошли. Ох и смеялись же! Разве такой должна быть кинокартина?! Разве об этом нужно снимать, тратя немалые деньги? Сюжет экзотического «Минарета смерти»¹⁷ был таков. Дочь хивинского хана Джемаль и ее молочная сестра Селеха по светской надобности отправились из Бухары в Хиву. По дороге на богатый караван напали разбойники. Атаман шайки Кур-баши как увидел Джемаль, так чуть не рехнулся от ее красоты. Но ханская дочь – девушка гордая, она отвергает любовь злодея и разбойника. Гюль-Сарык – наложница атамана, отнюдь не дура, ревнуя к Джемаль, организует побег девушек. Бухарский джигит Садык, встретив в степи полуголых обессиленных барышень, помогает им добраться до отчего дома. Он почти зажмурился, чтобы не сновать глазками по фигуре Джемаль, но взгляд его прям сам собою приклеивается к ее округлостям. Спас Садык красоток. Увы, вскоре девушки становятся заложницами бухарского эмира и его сына, совершивших набег на Хиву. В честь победы эмира устраиваются состязания всадников «кокбуры», и эмир дарит красавицу Джемаль победителю – круг замкнулся – Садыку. Сын эмира увозит девушку в свой гарем. Фильм кончается счастливой встречей Джемаль и ее возлюбленного.

– Это псевдеж! Таких фильмов не нужно человечеству! – кричит Иса, размахивая руками.

– Но это Висковский.

– А по мне, хоть сам Гриффит.

– Старая школа.

– В том то и дело – слишком старая.

– Ты строгий, Иса. Тебя Трауберг с Козинцевым испортили. По мне, так это было увлекательным.

– Сцена купания в гареме – безусловно! – смеется Иса. – Остальное – шлак.

22/ХІІ 1925 г.

Ленинград

Родная девочка! Я удивляюсь самому себе, я уже скучаю, уже чувствую твое отсутствие. Мне «бэзззумно» скучно без тебя. Я уже думаю о том, чтоб эти два месяца прошли как можно скорее. Все это я почувствовал, когда возвращался домой с вокзала. И решил во что бы то ни стало писать сегодня тебе. Мне сейчас хочется много-много писать тебе об этом, хоть и не стоит, наверное, распространять свои мрачные мысли.

Сейчас я очень остро чувствую, что тебя нет...

С Сашей были в кино и смотрели «Минарет смерти». Набежали гости, обсуждали вопрос о Новом годе, но так вяло, что ни до чего не могли договориться.

А ты, Чижулька, молодец, так спокойно уезжала, что было совсем легко тебя провозжать. Знаешь, Киска, меня мучает совесть, потому что я не исполнил маленькой твоей просьбы и не принес тебе на вокзал карточки. А ты, наверное, сейчас спишь, сейчас уже второй час ночи, а как хорошо было бы, если бы мы ехали вместе.

Мне сегодня целый день нездоровится, почему и вывожу я какие-то каракули.

Я буду тебе, Чиженка, писать много-много, но сегодня не берусь. Мне скучно. Пиши много и скорее. Спокойной ночи. Даю слово, что таких нечистоплотных писем писать больше не буду.

И.

Приписка в уголке: «Если буду так скучать все два месяца, то ты найдешь живой труп вместо „цветущего“ обезьянки».

¹⁷ «Минарет смерти» – мелодрама (СССР, 1925), режиссер Вячеслав Казимирович Висковский.

Пришел к другу Сашке Рыжему, чтобы не оставаться одному. Рыжий был, как всегда, гостеприимен. Принял горячую ванну и немного расслабился. Вся Сашина любезность и предусмотрительность к услугам Исы. Тут и уютный халат, и прохладный морс, а вот приличного листа бумаги и чернил у него не нашлось. Но Иса прощает другу этот промах – ведь еще никто толком не знает об Исиной письменной лихорадке, хотя, кажется, уже привыкают. Только вчера отправил Асе письмо, а сегодня появилась потребность написать новое. Иса не может отвыкнуть разговаривать с ней, как будто она единственный человек на земле, который когда-либо понимал его.

Теперь, когда он ходит по улицам, кажется почему-то, что вот-вот встретит Асю. Этой идеей он делится с Сашей, а Рыженький лежит под боком и зверски ругается – Иса мешает ему спать. Дикая пляска неугомонных мыслей в голове. Интересно, а как часто можно писать, чтобы это не казалось неприличным, навязчивым? Нужно придумать какой-нибудь важный повод.

25/ХІІ 1925 г.

Ленинград

Милый, родной Чижик, хоть ты и не веришь во Христа, все же поздравляю тебя с его рождением и наступающим Новым годом. Из самых недр своей дрянной душонки желаю тебе, Чиженька, много счастья, радости и веселья. И мне, если ты захочешь что-нибудь пожелать, хотя бы мысленно, пожелай только спокойствия. Если бы ты сейчас могла увидеть меня, ты бы поразилась той перемене, которая произошла во мне. Я стал какой-то беспокойный, чувствую себя все время как-то не по себе. В таких случаях очень скверно в себе разбираюсь, почему и не могу отыскать в себе всех причин. Я спрашиваю сам себя: может быть, все причины сводятся к твоему отъезду? И тут становлюсь в тупик, ибо не могу сказать ни да ни нет. Безусловно, это временно, не могу же я находиться в таком состоянии долгое время. Я полагаю, что разрешение этого вопроса должно явиться само. Скверное настроение просто убивает меня. В другое время я бросился бы к тебе, и убежден, что это было бы лучшим противоядием против ядовитого настроения.

Дневник Исы: 25 декабря. Встал утром не поздно. Ждал Сашу к обеду. Обедали, была выпивка, пить не хотелось, почему не знаю.

Приходил Тео и предлагал встречать Новый год у Миньковых, где будет 50 человек, из коих 13 девочек, а остальные все мальчики, за исключением 3 гермафродитов. Я лично отношусь ко всему этому пассивно и несколько не буду жалеть, если придется встречать НГ с глазу на глаз со своей собственной... подушкой. Денег у меня сейчас нет, доставать их и трудно, и не хочется. Это одна из многих причин.

В 11 часов пошли с Сашей в филармонию, сегодня там большой фокстротный вечер. Потолкавшись минут пятнадцать, мы ушли. Масса пьяных, шпана, бездна народа и в результате – перспектива неинтересного вечера. Черт с ними! Решил бежать домой, писать тебе письмо. Ты всегда говорила, что у меня язык без костей, а теперь смело сможешь сказать, что у меня рука без хряща. Мальчики просили тебе кланяться. Пиши, Асенька. Спокойной ночи!

Иса

28/ХІІ 1925 г.

Ревель

Я получила вчера твое письмо, дорогой Иса, и не имела времени тебе сразу ответить. Сейчас напишу почему.

Встала я в 1 ч. дня, так как накануне была на вечере и вернулась в 4 ч. ночи. Письмо читала еще лежа в постели (это доставляет мне огромное удовольствие). С утра уже были гости, затем в 3 часа дня был обед (и те же гости). После обеда меня ждал мой учитель танцев – один довольно интересный молодой человек, который взялся меня обучить модным танцам (мы должны успеть до Нового года). Затем в 5 часов мы отправились в кафе «Марсель» на five o'clock, где пробыли до 7 часов. Как здесь любят танцевать! До смешного! Утром танцуют, днем танцуют и вечером тоже танцуют! Там меня познакомили со многими молодыми людьми, и ни один из них не произвел на меня никакого впечатления. Танцуют хорошо, но не интересные. Эстонцы и немцы много интересней, чем наши! Русских здесь вообще нет, и русскую речь слышишь только в немногих домах, а на улицах никогда. Все говорят с большим акцентом, так что я еще тоже разучусь говорить по-русски. Но я отвлеклась! В 7 ½ часов мы отправились в театр. Ставили «Роман». Ты себе представить не можешь, Иска, какое сильное впечатление произвела на меня эта вещь! Вчера уже много думала, Иска! Ты не ругай меня, пожалуйста, но страшно понравилась одна фраза, сказанная героиней: «Не лучше ли бросить цветы, когда они еще полны свежести и аромата, чем выбрасывать их засохшими и увядшими...» Разве это неправда?!

Мне вчера хотелось тебе под свежим впечатлением о многом написать, но было поздно, и я отложила на сегодня. Но сегодня... сегодня все уже кажется иначе. Вот почему, Иска, я иногда так настаиваю: «скажи мне, скажи!», потому что «завтра» приносит с собой иные мысли, иные чувства... Ну, разошлась я больно! Расфилософствовалась!

Начала я письмо рано утром, а кончаю вечером. Ежеминутно кто-нибудь приходит или надо куда-нибудь идти. У меня, Иска, столько впечатлений, что мне даже трудно писать. Мысли путаются, не знаю, о чем раньше тебе доложить, что прежде тебе рассказать; многое откладываю до личного свидания.

Я думаю, что с концом праздников жизнь станет немного поспокойней, и я отдохну. Хотела бы еще много-много писать, но приехали мои старые друзья, и среди них очень интересный молодой человек. Бывшая любовь моей сестрицы.

Целую крепко-накрепко своего любимого мальчика.

Ася

Ася + Иса. Дуэль без цели

29/ХП 1925 г.

Ревель

Хороший мой мальчик! Как безгранично приятно получать от тебя частые письма. Меня только сильно огорчило твое настроение. Почему оно такое скверное? Ты пишешь, что, возможно, из-за моего отъезда. Не думаю, Иса! Мне кажется, что ты не успел так ко мне привязаться. Я думаю, что есть другие причины. Впрочем, меня они не столь интересуют, так как не сомневаюсь, что к тому времени, когда ты получишь письмо, ты будешь прежней веселой обезьянкой. Мне хочется, Иса, чтоб ты всегда был таким, чтобы весело провел праздники, чтоб весело встретил Новый год и чтоб всю свою жизнь был счастливым.

Ты не представляешь себе, Иса, как мне трудно писать письма. Меня ежеминутно отрывают, и я пишу письмо в три-четыре приема. А как я этого не люблю! Мысли поневоле рассеиваются, и не знаешь, что писать, забываешь, что ты раньше писала. Вот и это письмо я три раза бросала и продолжала потом. Кто-нибудь приходит, и я принуждена занимать гостей. Хорошо еще, если это приятно, а то не дай Бог! Совершенно не завишу здесь от себя, я должна подчиняться высшей команде, т. е. тетишке и дядюшке. Ты можешь себе представить меня в такой роли? Я никуда не хожу без них. Время летит так, что не успеваю оглянуться. Вот опять надо прервать письмо. Должна уходить в гости... Завтра кончу. Пока спокойной ночи...

Доброе утро! Как только проснулась, сразу села писать тебе, боюсь, чтоб опять кто-нибудь не помешал. Несчастье прямо какое-то! Ты уж меня извини, что пишу карандашом, но нет чернил под рукой. Как-нибудь уж разберешь мои каракули.

Я здесь стану такая толстая, что ты даже представить себе не можешь. Меня откармливают словно я из голодного края приехала.

Мне хотелось бы тебе послать кое-какие мелочи, но, говорят, такая пошлина, что не стоит посылать. Узнай, если это неправда, я вышлю. Платочки, например, в письме нельзя выслать. Придется уж вам ждать моего приезда, авось тогда сумею что-нибудь привезти.

Здесь все так дешево, по сравнению с нашими ценами, глаза разбегаются. Я для себя еще ничего не успела купить, кроме парадных туфель и бального платья для встречи Нового года. Я тебе пишу о таких глупостях, что смешно становится, но ведь я привыкла тебе все рассказывать. Вот и сейчас расскажу. Здесь в меня влюбился один молодой человек, довольно неинтересный, который ходит за мной по пятам. Где бы он меня ни встретил, обязательно прицепится, наговорит кучу комплиментов и прочих глупостей. К сожалению, никак не могу ответить ему взаимностью. Вообще, я никогда не думала, что я буду такой верной. Возможно, правда, что я не встречаю интересных людей, но факт налицо.

Ну, довольно болтать. Мне уже уходить надо. Кое-какие покупки делать для завтрашней встречи. Посылаю тебе «наилучший» подарок к Новому году – свою собственную розу.

Целую свою хорошую, дорогую мне обезьянку так крепко, как умеет Ася.

P.S. Имей в виду, что снималась я в моментальной фотографии, так что не взыщи.

Ася пишет Исе исправно, но он не знает об этом. В связи с новогодними празднествами почта загружена работой и отправления задерживаются, но Иса не хочет взять это в расчет. Иса хочет обижаться, он нуждается в страдании – ведь следующей фазой будет жалость к себе, а если удастся добиться сочувствия и от других, считай, план удался, мучения были не напрасны и обернулись кратковременным и острым наслаждением. Нет писем от Аськи. Иса

Проводили Трауберга большой фэксовской компанией, попытались изобразить небольшую пирамиду, забравшись на плечи друг другу, но на платформе было скользко, и все попадали со смехом.

С вокзала зашли к кому-то. Народу много, толку мало. Посидев минут пятнадцать, разошлись по домам.

Вот Иса бредет по Невскому, который никто из его знакомых не называет проспектом 25-го Октября. Он думает о том, что зима эта не кончится, пока не придет Ася.

Дома его ждет письмо от Фани и обиженные физики родных.

29/XII 1925 г.

Сычевка

Только сейчас приехала в Сычевку, и мне передали Ваше письмо, которое пришло 23 декабря. Я с целой оравой знакомых ездила к одной моей подруге за город (верст за 25) в имение. Забрали с собой коньки, лыжи и сани. Пробыли там целую неделю. Чудно провели время. Только я здорово разбила себе ногу, да это все ерунда, скоро пройдет.

Теперь у нас стало немного веселей, приехали студенты, вообще какие-то люди появились, но это все пока, на время, а как пройдут эти каникулы зимние, опять все заглохнет.

Однако, я только заметила, что взялась Вам отвечать, не снимая пальто. Наши в недоумении: «Что за спешное письмо ты пишешь? Даже не успела скинуть одежду и отдохнуть с дороги». Правда, страшно хочется есть, погреться, закутаться в теплый плед и лечь на диван, но я всем пренебрегаю и пишу Вам. Видите, какая я хорошая девочка. Правда?!

Иса! А хорошо бы было, если бы Вы приехали в Сычевку, хотя этого быть не может. В Вас храбрости не хватит. Да и желания не будет. Довольно того, что поговорите об этом.

Очень жалко, Иса, что у Вас в это время, когда Вы писали мне письмо, была «голова почему-то пуста», и все мысли и вопросы, оставшиеся у вас в голове, когда вы писали последнее письмо, «вылетели из головной корочки». Очень скверно, если у Вас такое же настроение, как показывает письмо. Думаю, что оно у Вас успело за это время измениться. Напишите все, о чем хотели написать. Пишите ответ скорей-скорей. Очень люблю получать от Вас письма.

Нужно написать еще много, но не могу. Страшно устала и ужасно хочу спать. Остальное напишу в следующем письме. Пока всего хорошего.

Фаня

1926

Иса. Пустота и Асины чары

1/1 1926 г.

Ленинград

Милая, родная девочка, Асенька! Поздравляю с Новым годом! Только что проснулся и еще не вполне пришел в себя. Хочу это письмо всецело посвятить вчерашнему дню.

Я лично не собирался встречать Новый год по многим причинам. И лишь вчера в 4 часа дня Саша и я решили встречать вместе со всеми нашими у Миньковых. Решено было собраться у Шуры, к ней-то мы и пришли к десяти часам. В начале 12-го часа все уже были в сборе, конечно, за исключением Минны, которая изволила пребыть со своим любовником в половине 12-го. От Шуры мы – все десять человек – на пяти извозчиках отправились к Миньковым. Вошли в общую комнату и как-то неловко себя чувствовали. До ужина держались особняком. Без пяти 12 было предложено идти к столу. В большой комнате были расставлены столики. Каждому карточкой было указано его место. За стулом каждой дамы висел шар (а-ля «Европейская»). В 12 часов на крыше произвели выстрел из специально приготовленной пушки. Потушили свет, зажгли фейерверк и бенгальские огни, серпантин, конфетти и таким образом шумно встретили Новый год. Вторую рюмку я и Минна пили за тебя, Чиженька. Я затем массу пил, стараясь этим поднять себе настроение, и не пьянел, несмотря на жуткое количество выпитого. Был трезв, и это злило и раздражало меня.

В час ночи часть компании поехала на крышу, где праздновали Новый год и ваши и наши. Мой папа танцевал фокстрот с бумажной шапочкой на голове. Зрелище комическое, представь себе! Я же отправился в один гостеприимный дом возле кинофабрики. Там я опять пил, пил и не напился. Смотрел на кинофабрику из окна и загадал когда-нибудь (желательно в этом уже году) там работать. В 4 приехали другие «крышники» и привезли с собой Женю Гринберг – твою милую невестку. Она была пьяна в стельку. На крыше поругалась с братцем твоим Даней, который был против того, чтоб она так много пила. Он рассердился и уехал, а Женю привезли к нам. Через час она тоже собралась ехать домой и просила проводить ее до извозчика. Короче говоря, я поехал с ней, довел ее до передней и, распрощавшись, уехал к Саше, где также была встреча Нового года. В 5 часов утра лег спать, в 3 часа пополудни встал. Говорил с Женей по телефону. У нее с Даней почти что все улажено.

Рассказал тебе все, что осталось в шумящей голове. Я остался почти доволен. Много треска, как в Вавилоне, частая перемена мест действия укоротили ночь, и этого уже было достаточно, ибо я рассчитывал на худшее. Огорчен, что не мог тебе послать телеграмму, мои скромные средства не позволили доставить себе такое удовольствие. Ты, наверное, вчера не чувствовала моего присутствия так, как это чувствовал я.

Пиши, милая девочка, чаще. Прости меня за последнее письмо и пиши все о себе. Я люблю твои письма, даже такие, но, к сожалению, редко их получаю. С диким нетерпением жду конца этих злых двух месяцев, о которых ты так просто говоришь.

До боли целую!! Помню и жду писем и тебя...

Иса

Иса писал часто: каждый день, почти каждый день, а иногда и дважды. Диалог неумолимо превращался в монолог. Он сам злился, сам утешал себя, он задавал вопросы и, не дождав-шись еще ответа, сам же на них отвечал. Настроение менялось в зависимости от воспомина-ний или от вспыхнувшей в голове фразы из очередного Асиного письма. Он моделировал ее реплики, как драматург на страницах собственной пьесы заставляет заговорить своих вымыш-

ленных героев. Ася Гринберг сделалась персонажем любовной мелодрамы Иски Менакера – роковой демонией, которая появлялась, искушала, совращала и исчезала, но не в произведении, а в жизни. Говорила она по усмотрению автора (в голове Исы) и так, как ему хотелось.

Ася, приученная Дузей к редким посланиям, эпистолам, часто посвященным самому автору, под Исиным напором, конечно, растерялась. Она умела откликаться на конкретно поставленный вопрос точной нотой, иногда аккордом, а порой развернутой мелодией. Но Иса переживал события жизни подчеркнута преувеличенно, хватался за случайную деталь, выдергивая ее из целого потока жизненных впечатлений Аси, и городил вокруг нее частокол сомнительных ассоциаций. Алтарь сомнений Исы начал поднадоедать Асеньке – она этой религии не причащалась, ни ревностью, ни покорностью, ни бесчувствием не присягала на верность. Получив последнее декабрьское письмо Исы, Ася решила, что пришло время обидеться.

2/1 1926 г.

Ревель

Своим письмом, Иса, ты доставил мне много неприятного, и, возможно, ты именно этого добивался. Тогда ты можешь быть доволен!

Я совершенно отказываюсь тебя понимать, ты, вероятно, писал это после бессонной ночи, или у тебя в голове помутилось?! Что ты хотел им сказать? Я тебя очень прошу, разъясни мне! Ты пишешь, что не ожидал, чтоб мое первое письмо «оказалось бы газетной хроникой» и что в «ворохе фокстротов, кавалеров, ресторанов, туалетов и т. д.» ты не узнавал меня. В чем дело? Какие глупости! Ты великолепно знаешь, что я приехала сюда не для серьезных занятий, а для того чтоб немного освежиться, покутить. Да, все мои знакомые стараются мне доставить всевозможные удовольствия. Да, для меня это ново, интересно. Так что ж я должна делать? Я с тобой делилась, мне хотелось тебе рассказывать каждую минуту своего времяпрепровождения, а ты в этом усмотрел что-то нехорошее! Твое письмо... мне жаль, зачем я его получила! Нелепые грубые фразы. Ты мне бросаешь незаслуженные упреки по поводу моих действий, стараешься уколоть меня хотя бы насчет моих писем, которые написаны «ровненько по полторы странички». Ну что ж, я других не умею писать. Ничего не поделаешь, придется либо такие читать, либо совсем не читать!

Ты меня очень разозлил, Иска, доставил много боли, и к чему? Неужели же тебе было бы приятней, чтоб я не выходила из дому и целыми днями скучала? И потом, Иса, ведь не тебе говорить об образе жизни, ведь ты же всегда ведешь не лучший. Я считаю, что ты меня попросту незаслуженно обидел. По крайней мере я так это чувствую!

Я хотела тебе сразу ответить, но решила подождать до вечера, чтоб не писать под первым впечатлением, ведь ты знаешь меня, и что могу наговорить, если сердита. К сожалению, должна на время оставить письмо, ибо пришел мой знакомый, и мы должны идти в театр. Завтра кончу...

3 Января. Я только что перечитала все написанное мною, и мне стало обидно, что между нами ведется подобная переписка. Мне, Иска, не хочется так писать тебе! Я не сомневаюсь, ты мне разъяснишь причину твоего неудовольствия, и мы пойдем друг друга. Не сомневаюсь также и в том, что по получении моих последующих писем, ты успокоишься и поймешь, все это ерунда и я осталась прежней Асей, и даже прежним «морским чижиком». Мое «веселье» не мешает мне помнить о всех вас, часто переноситься мыслью к вам и думать, об очень многом думать!

Живу я по-прежнему. Не успеваю замечать, как дни летят, уж две недели. Останусь здесь, наверное, еще недель шесть.

Новый год встречала со своими родными в еврейском клубе и провела хорошо время. Много танцевала, познакомилась с многими, но ничего особенного не было. Бываю иногда

в театрах, иногда в кино, иногда хожу в гости, иногда же гости у нас. Вчера была в эстонском театре, слушала оперетту (на эстонском языке) «Меди». Когда поют, впечатление, что на итальянском, такой мелодичный язык, но вообще, конечно, я мало что поняла. Со мной был поклонник, но он не успевал мне всего переводить.

Завтра утром отправляю тебе посылку – пару коричневых туфель, 3 пары носков (они очень дорогие здесь) 1 помаду и 1 коробку пудры. Пошлина должна быть небольшая. Между прочим, туфли я посылаю 41 номер, так как меня все уверяют, что здесь номера меньше, чем у нас. Сейчас вообще не сезон на туфли, и их очень трудно достать. Я выбрала, какие мне больше понравились и какие прочнее. Напиши мне обязательно, пришились ли они тебе по вкусу? Здесь они считаются самыми модными.

Если ты будешь звонить по телефону, то дай мне заранее знать в какой день, ибо меня очень трудно застать дома. Только не надо большие иронии и колкостей, лучше прямо сказать все, что думаешь.

Будь здоров мой злой, но хороший мальчик! Ты получишь мою фотографическую карточку с надписью, которая будет всегда напоминать о неправоте твоего поступка.

*Целует свою нехорошую обезьянку
любящая ее Ася*

В ночь со второго на третье января впервые в жизни Исе приснилась Она. Снилось, что он получает разрешение выехать на один день из СССР в Ревель. И за этот ужасный, торопливый, путаный день он никак не может найти свою Асю. И он принужден ехать обратно. Когда отходит поезд, Она вдруг появляется на платформе. Он хочет крикнуть и не может. Выскакивает на полном ходу из поезда и... просыпается. И так – всю ночь, разные вариации одной темы. Под утро забылся, а утром запоем читал пришедшее Асино письмо...

Иса, конечно, не понимал девушек. Сознаться в этом было страшно – это было чем-то сродни предательству своего пола, мужской твердости, мужского ясного взгляда на жизнь. Но страшнее того было признать, что Асю-то он очень хотел понять. Декларация готова: Иса хочет понять хотя бы одну женщину в мире – Анну Ефимовну Гринберг – Аську. Понять вообще, в целом, а конкретно сейчас он хочет знать, почему она то сожалеет, что не может ответить на жадные ухаживания какого-то заграничного юноши, то умиляется фразами, брошенными со сцены героями пьесы, решившими угробить свежие цветы? Ведь он-то как раз заботливо оберегает их общий символический букет. Иса надеется, что ему удастся сохранить его такими же свежим и живым, какими Ася вручила ему уезжая... Впрочем, поэзия не к лицу Исе, не этого вроде бы ждет от него Ася, а чего она ждет, Иса так и не понял. Каждый раз, когда пишет ей, от многого воздерживается, желая попасть в ее тон. Старается и не может. Все запрятанное прет наружу, и пишет Иса, что думает. Думает же всегда об одном и том же, почему и письма его кажутся однообразными.

Кончил писать и завалился обратно в постель.

Вот уже второй день, как Иса чувствует себя не совсем здоровым. Вечером целый день пролежал в постели и списал все на последствия Нового года. Ведь на следующий день он опять много пил в гостях. А может быть, разгоряченный, простудился, развезжая ночью.

За стеной слышатся смех и звуки фортепьяно. Сестра Лида играет модную песенку очередным гостям, которые теперь повсеместно циркулируют из дома в дом, нанося один другому новогодние визиты.

– А где ваш Исанька? – раздается трескучий старушечий голос, довольно громкий, однако старуха глухая и не слышит сама себя.

– О! – так же громко отвечает Лида, так, чтобы услышала не только тугоухая гостья, но и брат Иса, спрятавшийся в своей комнате. – С ним произошла чернильная болезнь.

– Какая болезнь? – не понимает карга. – Я такой не знаю.

– Эта особенная болезнь, заставляющая человека употреблять бешеное число чернил и бумаги.

– Ах, вот как! – будто деревянный обруч запрыгал на стержне игры в серсо – это карга засмеялась. – И это серьезно?

– Пожалуй.

– На него это никак не похоже.

Под эти голоса Иса начинает дремать, дремать и засыпает, спотыкается о случайных людей во сне, бродит в коридорах, натывается на печальный и строгий взгляд Козинцева, убегает от него, немедленно встречается снова, рассказывает ему, что любит театр и кино не меньше, но есть тут одна девочка... И Козинцев пропадает в облаке пиротехнического розового дыма.

Иса болеет, проходят дни.

Ася не пишет.

Иса возвращается в ФЭКС, кашляет, но учится. Взгляд Козинцева строг и печален, совсем как во сне. Нет писем из Ревеля. Иса решает, что до получения весточки от Аси не станет баловать ее своими посланиями.

– Вы, Исаак, о чем хотели бы снимать кинокартину?

– О любви.

– Это поможет людям преодолеть безграмотность?

– Нет, наверное. Но это поможет не плакать от одиночества.

– А вы плачете?

– Нет, – врет Иса.

Пробегая мимо почтамта, Иса решает изменить принципу, зайти, черкнуть пару строк. Тупым пером он царапает по открыточке – самой дешевой, без картинки, выводит на вялом картоне адрес – ненавистный Ревель, Асе.

Все его послания тонут в таинственном пространстве: где-то между непринятыми решениями и невысказанными вопросами. Ася не отвечает, и Иса бросает ее, оставляет, рвет с ней окончательно. Он так и говорит, глядя в воображаемое лицо:

– Окончательно порываю с тобою.

Ася улыбается с фотографии, так мило улыбается на этом снимке. Бумажная, с глянцевым блеском в глазах, она все равно смущает и манит.

Через три дня ночью, не выдержав наказания, добровольно наложенного на самого себя, Иса принял за новое письмо – открытка не считается! *«Злая! Злая, но все же родная девочка!»* Фраза легла на мотив модной песенки «Светлячки», которую распевали в каждом известном Исе доме.

– Иса, ты спишь? – сестра Флора стучит в дверь. Она давно хочет поговорить о развалившемся браке родителей, она не понимает, нужны ли новые попытки помирить их или нужно объявить папаше бойкот. Но Иса устал от слез матушки и от запоздалого романтизма родителя – влюбился, чудак, в женщину стыдливую и бесстрастную. А бойкот ему объявили уж всей родней, не говорил с ним никто, включая домработницу Стасю.

Флора стучит еще и еще, но Иса не отвечает, продолжает писать.

– Иса, я вижу свет под дверью.

– Фло, не сейчас, я занят!

6/1 1926 г.

Ленинград, среда

Злая! Злая, но все же родная девочка! Вот уже три дня, как не имею от тебя писем. Это по меньшей мере зло, а по большей – предательство. Бог тебе судья. Угадываю причину: празд-

ники прошли, и можно смело приняться за обмундировку. Наверняка не ошибся, и ты таскаешься по магазинам? Обидно и скучно, ничего не знать о тебе... Око за око – вот и я не писал. Впрочем, это неправда. Не писал тебе аккуратно, не потому что хотел помучить, а просто не было в этом острой потребности. Да и понятно, острота ощущения твоего отсутствия чуть-чуть притупилась. Ведь уже третья неделя, как ты там, за пределами С. С. С.Р. сеешь разврат и жнешь веселье. Разврат – это, конечно, сильно сказано, но ты ведь знаешь, как я всегда все люблю преувеличивать.

Мастерство, с которым ты пишешь пахнувшие фокстротом письма, не подлежит оспариванию. Кстати о твоих письмах. Минна мне сегодня рассказывала, что получила от тебя письмо. Я, конечно, полюбопытствовал узнать о том, что ты пишешь. Минна с трогательной горечью сказала:

– Что пишет? Да вот пишет, что веселится, танцует, танцует и веселится. И так все письмо!

Ну, разошелся. И чего, спрашивается? За что я тебя ругаю? А жую, потому что люблю тебя, мою славную, хорошую девочку. Это, Асенька, раз я здоров душой, значит, я должен ругаться. Поругаю тебя за несколько строчек в твоём последнем письме. Почему ты думаешь, что я не успел к тебе привязаться? Я начал мрачно раздумывать о том, что либо ты не получила всех моих писем, либо ты их читаешь не в постели (как ты об этом писала), а где-нибудь в кафе, во время бурного фокстрота (никогда мне не приходилось так часто упоминать это слово). Каждое письмо ясно тебе показывает, насколько я к тебе привязался, и что вряд ли что-то изменится до твоего приезда. И больше ругать не буду. Точка.

У меня большое желание как-нибудь поговорить с тобой по телефону, и вместе с тем боюсь этого разговора как огня. Я чувствую, что настолько растеряюсь, что не буду знать с чего начать. А уж если начну говорить, то убежден, что меня после минутной беседы выгонят из разговорного пункта, приняв за сбегавшего обитателя «Николая Чудотворца»¹⁸. Впрочем, будь что будет, минута да моя...

Надо полагать, что ты уже успела в достаточной степени освоиться – не с фокстротом и молодыми людьми, а в области акклиматизации, оседлости и культурной жизни. Я очень прошу тебя, напиши о твоём трудном решении: как долго ты собираешься пробыть в Tallinn'e. Неужели ты не выедешь оттуда раньше, чем через полтора месяца? Я не понимаю, Чижик, что тебе там делать? Разве только тебя задержат твои портнихи, которые вечно стоят нам мужчинам столько здоровья. Приезжай как можно скорее. Это моя самая большая просьба...

Утром едва продрал глаза – так хотелось спать, что решил бросить все дела и остаться в кровати. Но устыдился, поднял себя, привел кое-как в порядок. Заглянул в гостиную. Стася, прислуга, чистила серебро, напевая бессмысленную песенку, кажется, по-польски.

– Не пропусти почту, пожалуйста.

– Доброе утро, Исаак Михайлович! – Стася сложила губы в насмешливую гримасу. Она пыталась Ису воспитывать, а он грубил в пику, рассудив, что с самой Стаси как с гуся вода, а ему, Исе, – радость, ведь должен же он на ком-нибудь срывать накопившуюся злость.

– Не прозевай почтальона.

– Не морочь мне голову.

Прошмыгнул мимо грустного отца, сидящего на высокой табуретке возле кухонного стола. По квартире плыл запах успокоительных капель, что означало одно: мама с папой успели поругаться. Иса буркнул: «С добрым утром» и ушел.

¹⁸ Петербургская психиатрическая больница святителя Николая Чудотворца – одна из старейших психиатрических клиник России.

Отправил ночное письмо и попытался хоть чем-то занять день. Но город и друзья жили своей жизнью, а в утренних газетах написали, что в Греции Теодорас Пангалос объявляет себя диктатором. Иса слоняется по зимнему городу и несколько раз проходит Невский насквозь – вдруг встретит кого-нибудь. Но Исе не везет сегодня.

Часам к двум свело живот от голода, решил вернуться домой. В конце концов, если кто-то из родни и решит провести профилактическую беседу, он скажет правду, скажет, как есть: университет – это не его путь, там он никогда не восстановится, а ФЭКС – горящий во тьме факел. Иса пойдет на кинофабрику или по другой части в искусстве. Илюша Трауберг ведь непременно устроится хорошо и потянет за собой близкого друга. Но пока перспективы Исы туманны, он сам это понимает.

Вбежал к себе в комнату, кинул взгляд на письменный стол – ничего. Бросился на кровать, хотелось плакать и спать, не найти было Исе себя. Из всего того, что он встретил в жизни интересного, реальностью была только Ася, ибо даже засевавшая внутри мечта – смотреть в глазок киноаппарата, была чем-то несуразным, ненужным действием без нее. Только Ася, а она, подлая, молчит!

Часов в шесть он проснулся в темноте и потащился в столовую чем-нибудь заморить голод. Письмо, а с ним и повестка о получении посылки лежали в столовой на буфете. Виновицей всех этих неприятных переживаний явилась, конечно, Стася. Почту приняла, корова, но положила не на стол к Исе, а сюда, на буфет. А главное, не сказав никому ни слова о корреспонденции, ушла из дому, заставив Ису проклинать судьбу, Аську и весь мир в целом. Осторожно распечатав конверт, Иса добыл кусочек заграничной голубой бумаги...

8/1 1926 г.

Ревель

Мой дорогой, любимый мальчик!

Я очень рада, что мое последнее письмо доставило тебе много удовольствия. Если бы это зависело от меня, я бы старалась всегда так делать, чтоб тебе было приятно... Вот твои письма я не всегда хорошо понимаю, мне многое кажется не совсем вероятным. Ты знаешь, Иска, я никогда не думала, что ты можешь скучать по человеку, если он отсутствует. Вот поэтому, когда я читаю, что ты чувствуешь мое отсутствие, что тебе хочется, чтоб я приехала, – меня поражают эти фразы, они мне кажутся не твоими. Но мне это приятно!

С другой стороны, у тебя срываются такие упреки по отношению ко мне, что я ума не приложу за что? Например, в прошлом письме ты мне пишешь следующее: «...то ты сожалеешь, что не можешь отвечать на жадные ухаживания какого-то заграничного юноши, то ты умиляешься фразами, брошенными со сцены героиней „Романа“». Во-первых, на какие это жадные ухаживания я не могла ответить? Если б я захотела, я бы ответила на любые! Во-вторых, их вообще, по-моему, ни с чьей стороны не было. Ты напрасно сердись на моего учителя танцев. Ведь это же глупо, Иска! По-моему, это совсем не похоже на тебя!

Я тебе сейчас расскажу про все свои встречи с молодыми людьми. Один из них – это «учитель танцев» (между прочим, мы давно уже бросили наши уроки, я оказалась способной ученицей, и ему долго мучиться со мной не пришлось) – бывает у меня ежедневно. У моей тети сейчас гостит и моя подруга из Киева, приехавшая из Берлина, где сейчас живет. «Учитель танцев» живет этажом ниже нас. Так что все дни мы проводим втроем. Другой молодой человек, я с ним познакомилась на Новом году (товарищ «учителя танцев»), сразу произвел на меня сильное впечатление, он очень интересный лицом. Но, как оказалось потом, воображает о себе невероятно. Кстати, он блондин! Бывает у меня, но не часто. Встречаемся с ним в кафе «Марсель», иногда в театре. Остальные знакомые – это старые друзья. О других же новых знакомых... Это всё люди, на которых не стоит останавливать свое внимание.

К сожалению (или, возможно, к счастью), пока что ни в кого не влюбилась, и, возможно, ты этому виной! Если это случится, обещаю тебе сразу же написать об этом и послать в траурном конверте. А до тех пор, пока ты такового не получишь, ни слова на эту тему!

Теперь относительно слов, сказанных героиней «Романа». Я, Иска, редко когда увлекаюсь внешней формой, ты ведь знаешь. Я только думала, не справедливы ли слова, сказанные ею? Ты со мной не согласен, возможно, ты прав... Но если посудить с моей точки зрения, то, возможно, я окажусь правой?! Но не стоит об этом. Поговорим о настоящем.

Тетушка моя больна. Боже избави тебя сказать об этом хотя бы одно слово кому-нибудь из наших, они ничего не знают. У нее невралгия в сильной форме, она лежит уж целую неделю. По магазинам не ходила, ничего не купила стоящего. И потом ведь все время были праздники. Здесь магазины открыты до 5 часов, обедаю я в 3, а надо принять во внимание, что встаю я к часу дня. Пойми же, что у меня очень мало времени. Все свободное время дня занята тетей. Ты себе представить не можешь, милый Иска, как мне хотелось послать тебе подарок ко дню рождения, к 17 января, но времени нет, и я боялась из-за пошрины. Лучше уж привезу тебе лично. Заранее тебя поздравляю с днем твоего рождения и пожелаю тебе много счастья во всей твоей долголетней жизни. Если исполнится часть моих пожеланий, то тебе будет хорошо и легко жить всю жизнь. Мысленно при этом крепко целую тебя. 17-го числа отправлю тебе телеграмму. Лишний раз напомню о себе.

Между прочим, как странно, ты мне писал о том, что я тебе снилась пару раз и о том, как тебе приснилась твоя поездка в Ревель. Мне сегодня снилось то же самое, только я ехала в Ленинград.

Не пьянствуй! То, что ты болеешь, это Бог наказал за меня! Наверное, натворил что-нибудь на Новом году, вот и расплачиваешься теперь. Ох уж мне эти твои проказы! Ну, разболталась я ужасно. Ты ведь знаешь, мне бы только чтоб поговорить была возможность.

Ася

12/1 1926 г.

Ленинград, вторник

Моя дорогая любимая девочка!

Сегодня получил твое письмо. Спасибо за него! Оно такое хорошее и послужит мне подкреплением на долгое время. Мы с тобой, милый Чижик, во многом сходимся. Я не ожидал писать тебе такие письма! А что касается того, что тебе многие фразы кажутся чужими, то божусь!! клянусь!! по-русски, по-английски и по-еврейски, что это мои! Я до сих пор писал самостоятельно, без посторонней помощи. Разве только грешен в том, что как-то собрался купить письменник (любовный) да не было денег, а потом «набил» руку и раздумал.

Ты пишешь, «что до сих пор пока ни в кого не влюбилась», и не надо, девочка! Не стоит менять своего старого «полобовника» на какого-нибудь ревельского шалопая. В случае, если променяешь, или пустой конверт с траурной рамкой, как обещала. Конверт с письмом отошлю обратно, не распечатывая. Это на всякий случай (шутка с большой долей правды).

Сегодня опять видел тебя во сне. Коротко: по необходимости убиваю одного «дяденьку», за что попадаю под суд. Суд приговаривает меня к расстрелу. Во все время судебного процесса мучит мысль, что мне не придется повидаться с тобой. И в последнем своем слове, данном мне судом, я прошу, чтоб мне дали возможность перед исполнением приговора повидать тебя. И разрешение получается вместе с приговором. У меня не хватает сил описать жуткие часы прощания, и я убежден, что до тех пор, пока я буду знать тебя, я никогда не совершу убийства.

Ладно! К дьяволу все бессмысленные сны! Лучшие опишу тебе явь своих дней.

Я здоров вполне и веду нормальный образ жизни. В 12 часов я уже дома, это – за небольшим исключением – каждый день. После долгих сборов, наконец, решился и зашел к вашим. Взял Сашку для уверенности. Встретили нас очень любезно. Сперва провели к тебе в комнату. Нет тебя! И комната не имеет той прелести, которой она обладала раньше. Оттуда перешли в гостиную. У вас дома для тебя от какого-то карлсбадского дяденьки получили пудру, помаду и духи. И каждой барышне по два шерстяных платья. Сидели, болтали, вспоминали тебя и в результате ушли в 12 часов.

Приближается день моего рождения. Решил устроить его в субботу 16-го. Это решено большинством голосов. Подробности напишу в воскресенье. Сейчас отправляюсь с Сашей в театр на «Яд»¹⁹.

Теперь уже не бурно, а тихо, упорно и покорно жду свою родную девочку и целую, как при прощании перед расставанием надолго.

Твой Иса

Сашка заработал 126 рублей и потянул всех в бар. Пошли втроем с Карлушей Гаккелем²⁰. Потом подтянулись другие, чьих лиц Иса не запомнил. На дворе 13 января, среда. Мороз трещит, приближается день рожденья. Но Иса скромнее теперь как послушник и, кроме сосисок и пива, ничего в баре не употреблял. Надо написать Асе о вчерашнем «Яде», от которого Иса в диком телячьем восторге. Пьеса «с культурной порнографией», как написали в какой-то газетенке, очень хороша, а Вольф-Израэль покорила Исино сердце: страшно нравилась ему весь спектакль, а после он только об одном и бредил – заявиться к ней в гримерку и рухнуть на колени.

Впервые за время отсутствия Аси Исаак был безоговорочно счастлив и первый же испугался этого. То ли того, что позволил себе испытать радость помимо роковой возлюбленной, пусть и в придуманном искусственном мире, то ли, что теперь так мало радуется: день да ночь – сутки прочь.

Подходит день рожденья. Почти всех знакомых пригласил Иса на празднование. Может быть, это встряхнет его? Встряхнет ли?

Целый день был в хорошем настроении, а вот вечером грызло без конца невысказываемое, неведомое, не давая возможности одуматься и хоть чем-нибудь отвлечь мысли, которые подобрались одна к одной – все об Асе. И даже сейчас, уминая сосиску в баре, он не может совладать с собой – думает о многом, хорошем, плохом и чувствует свою девочку близко-близко, и стонет, и ставит со стуком на стол кружку с желтым пивом.

– Он болен, Карлуша?

– Он болен, Саша.

– Я хочу чувствовать и видеть тебя так, как это было прежде, помнишь?

– Он сейчас с кем разговаривает?

– Он сейчас пьян, но, видимо, с Асей.

– Чтоб я мог чувствовать твоё дыхание и всю тебя. Горячую, и нежную, и требовательную, и понятную.

– Утешься, Иса, когда-нибудь, когда безумие твоё пройдет, ты снимешь о своей любви кинокартину «Воровка сердец» и прославишься.

¹⁹ «Яд» (1926) – пьеса Анатолия Васильевича Луначарского (1875—1933) российского революционера, советского государственного деятеля, писателя, переводчика, публициста.

²⁰ Гаккель Карл Альфредович (1906—1966) – советский режиссер, работал как вторым режиссером, например, на картине Фридриха Эрмлера «Великий гражданин» в 1936 г., так и самостоятельно. Поставил пять картин, ни одна из которых не имела большого резонанса.

– Это не безумие, и оно не пройдет! – уверенно мычит Иса. – Любить по-прежнему, любить до одурения. Я не то говорю... Не то, что хочу, надо гораздо сильнее, я же ведь не могу обо всем говорить и писать. Я не умею.

– Иса, – Гаккель шлепает его по щеке, – Иса, очнись.

Иса капают на друзей коротким мутным взглядом и снова уходит в себя. Нужно стать бешеным, нужно дойти в любви до точки, после которой либо пан, либо пропад. Он перестал перечитывать свои письма перед тем, как послать их Асе – было страшно начать стесняться своих чувств. Страшно остановиться и сказать себе: «Дурак, о таких вещах не пишут!»

Открытка была яркой. На ней трое пьяниц, двое подпирают друг друга, третий, которому не хватило дружеского участия, присел на бревно. Карандашом было приписано Асенькиным почерком с нахально вздымающимися палочками от «р» и кокетливыми лепестками от начального крючка «л» и «м»:

15/1 1926 г.

Ревель

Карлуша, Саша, Иса, не возвращаетесь ли вы и теперь, святая троица, домой в таком виде? Ведь меня – вашей начальницы, нет. Вы можете себя вести как угодно! После Нового года, верно, еще продолжаете пьянствовать. Пишите, мальчики! Я получаю много удовольствия от ваших писем.

Ася

Немного обидело, что нет длинного письма, описывающего чувства, но юмор и некоторая эксклюзивность этого послания порадовала. Хоть и было оно адресовано всем троим, но послано на его, Исин, адрес. Хоть и карандашом и явно случайно на почтамте найдена была открытка в последний момент, но об их приключениях Ася знает от него – от Исы.

Что ей написать? Как вчера вечером был с фэкссовскими мальчиками в «Пикадили», танцевали перед сеансом, потом смотрели кинокартину, которая тут же стерлась из памяти. После сеанса встретили случайно Минну с ее хахалем Мишей. Быстро же Минна забыла Дюзю. Тот, правда, тоже не эталон беспримечной верности, но Минна – девушка, могла бы хоть для виду немного пострадать.

Потом пошел в гости к Шуре. Шура встречалась с фэкссовцем Тео, и они бесцеремонно целовались, а Иса сидел и облизывался. Интересного в таком занятии нашел мало, а потому рано ушел домой.

Время катилось без Аси к черту. Время стояло столбом без Аси. Время вытворяло все что угодно, только не было справедливым. Поспевает Исин день рождения, а Иса думает: лучше б он не родился.

17/1 1926 г.

Ленинград

Родная, славная девочка!

Как обидно, что вчера не было тебя. Телеграммой твоей я, конечно, был тронут, но мне этого было мало, мне хотелось видеть тебя, хотя бы ненадолго, но, увы, этого события придется еще долго ждать. Постепенно вооружаюсь терпением. Надолго ли?

Постараюсь тебе сейчас описать вчерашний день со всеми подробностями. Наши артисты собрались в 12 ½ часов. Ровно в 12 я, как обещал тебе, пил solo за тебя, за нас. После ужина, как водится во всех культурных домах, танцевали этот самый танец, название

которого тебе так надоело слушать из моих уст. А в дальнейшем все было как-то безалаберно, в карты не играли, мне так по крайней мере кажется. Я был основательно навеселе и смутно обо всем помню. Помню, что я разговаривал с Люсей. Говорил долго и об очень многом. Не скрою, мне вчера Люська... нравилась. Она очень хорошо выглядела и против обыкновения была очень милой. Но мы только разговаривали. И опять-таки честно сознаюсь, мне было довольно трудно удержаться от некоторых соблазнительных перспектив. Что касается того, что у меня было «желание», то я себя оправдываю. Выпито было много, и самое главное – за время твоего отсутствия я ведь ни с кем не «встречался».

Все, кажется, остались довольны. Сама усердно ухаживал за Килей и к концу, перед ее уходом, поругался с ней из-за отказа поцеловаться с ним. Мишка Долгополов крутился все время возле нашей Лидочки и осыпал ее градом комплиментов. Вовка Шульман волочился за Мэрой Лурье, а под утро после ухода Мэры, мой папаша застремил Вовку, как он целовался в коридоре с Люсей. Для меня вечер прошел незаметно, без каких-либо особенностей. Второй тост пил с Минной за тебя, а третий предложил всем выпить за отсутствующих дорогих друзей – тебя и Илюшу.

Мне хочется, родная девочка, рассказать тебе все подробно, и вот я сижу и ломаю голову, стараясь вспомнить все мелочи. Среди ночи ездил провожать домой Килю, а под утро Люсю. Когда я, проводив Люсю, приехал домой, то Саша, не дожидаясь разрешения властей, выехал за пределы С. С. С. Р. Причем по дороге попал в уборную и там в ее недрах утопил свое рипсе-пез. Вид у него был кошмарный. Как обычно в таких случаях с ним бывает, бредил Килей. И спрашивал мою маму, как она думает, отдастся ли ему Киля и в каком положении это удобнее всего сделать. Всю ночь я и *British mother* возились с ним. Утром его качали касторовой, и он до сих пор совершенно больной лежит у меня, а сейчас 5 часов вечера. Меня его дикие вопли все время отрывали от письма, и потому письмо технически получилось весьма неровное. Да и у меня самого башка совсем пустая и тяжелая. Мне никогда не приходилось писать при таких обстоятельствах. Шумно ужасно. Галдеж отчаянный, а потому лучше оставляю до завтра. Завтра обязательно пошлю тебе письмо, и все, что вспомню о вчерашнем вечере, постараюсь изложить в нем. Напиши, как ты провела вчерашний вечер. И знай, что я по-прежнему скучаю по любимому Чижкику.

Иса

Неожиданно скоро вернулся Трауберг. Он ворвался в комнату друга и стал тащить его за руку с кровати:

– Поднимайся, дубина! Идем в кино!

– Никуда я не хочу, холодно на дворе.

– Вышел фильм²¹ Эйзенштейна! Вчера в Москве был фурор! Мы не можем пропустить этого события. Потомки нам не простят.

– Не простят тем, у кого они будут. А я собираюсь постричься в монахи.

Но Илюша обычно не слушал Искиных жалоб, он поднял его на ноги и самолично повязал ушанку и заявил:

– Запомни сегодняшний день 19 января 1926 года. Он изменит твою жизнь.

Пока шли до «Пикадили», Трауберг рассказал, что все уже сложилось и что в Харькове его ждут не одна, а целых две должности.

Разговор был прерван надолго. Пока они смотрели фильм, Иса не мог дышать, а потом еще долго молчал от переполнивших башку мыслей. Зато Трауберг трещал за двоих и был рад залучить друга к себе, нужно было привести его в чувство. Согретый чаем, Иса обмяк.

²¹ «Броненосец „Потёмкин“» – немой исторический художественный фильм, снятый режиссером Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино» в 1925 г. Неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времен и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссеров и публики.

- Жизнь прожита напрасно, – проямлил он.
- Не дури, подходит наше время, только подходит.

И Илюша вновь настаивал на совместном отъезде в Харьков, а Иса осматривал содержание Трауберговой библиотеки: что можно заложить, чтобы выручить деньги на отъезд к границе – встретить Асю, когда она все-таки вернется. Илюша отобрал книгу и двинул друга томом медицинской энциклопедии.

- Илюша все же устроился в Харькове, – говорит Иса сестрам Флоре и Лиде. Говорит между прочим, просто подбрасывает на поверхность обрывки мыслей. – Теперь уж надолго.
- Ты тоже должен ехать! – Флора, как всегда, уверена в своей правоте.
- Я не могу.
- Это не разговор, Иса, – вступает Лида. – Там есть перспективы роста.
- Не могу и все.
- Эх, мать твою. А все Аська! – Флора думает, что, если ругнется по-мужски, слова ее станут весомее.
- Я не могу уехать, пока она не вернулась.
- Она же бог знает когда вернется?!
- Не могу...

Накануне вечером Иса уже выдержал атаку самого Илюши, и сейчас уже не было сил отбиваться от домашних.

В честь отъезда младшего Трауберга решили сняться на фотокарточку – коллективную и персональные, чтобы каждый помнил о каждом. Иса заказывает еще одну, дополнительную.

- Асеньке? – спрашивает Тео.

– В субботу будут готовы, молодые люди, – заявляет фотограф – немолодой мужчина, не снимающий шапки в помещении из-за того, что мерзнет голова после контузии, полученной в Первую мировую.

– В субботу так в субботу! – подытоживает решительный Илюша. – Товарищи мне вышлют. Вы ведь вышлете, товарищи?

Второй день проводит Иса в обществе уезжающего Илюши и ничего не понимает из того, что происходит вокруг. По-прежнему тоскливо и пустота ада. Непокколебимая уверенность Илюши, что в Харькове он достигнет немислимых результатов и вскоре вернется в Ленинград большим начальником, невероятно раздражает. Друг кажется Исе бездушной карьерной машиной, сожравшей каким-то образом все свои чувства.

Часов в шесть вечера зашли в бывший магазин Искиного папаши. Теперь это была кооперативная галантерея, где Иса и некоторые другие его друзья подрабатывали в полсмены. Сегодня очередь Тео.

Тео был печален. В магазине часто воровали, и поначалу Иса с Илюшей подумали, что причина в этом. Но мялся Тео и признался – все дело в женщине. А женщина у Тео известно какая – Шура. Они поругались, и теперь у них все кончено и навсегда. Илья, как всегда, заявил, что это если и не прекрасно, но все же хорошо – Тео талантлив и теперь, необремененный любовным недугом, сможет всецело посвятить себя операторской работе. Слова вроде бы для Тео, но Исе казалось, что камни летят в его огород. Поэтому, пока друзья спорили, Иса тихонько смотался и вернулся с Шурой. Помирил их с Тео назло Траубергу.

- Зачем ты это сделал? – спросил потом Илюша.
- Чтобы они были счастливы.
- Дурак ты, Иса. Я хоть и люблю тебя, а ты дурак.

Уехал Трауберг в Харьков, и на этот раз не было никаких пирамид на вокзале. Только Иса обнял друга и обещал прибыть к нему по первому же требованию. Он ведь прав, Илья, мужчина не должен так зависеть от женщины, в которую влюблен.

А вечером, чтобы скоротать время, Иса направился в гости к Минне, где неожиданно громко сказал, перекрывая патефон и голоса:

– Давайте напишем Асе коллективное письмо.

Все уже подвыпили и с удовольствием это предложение приняли, но потом пили и целовались, спорили об искусстве, забыли об Асе. И только Иса о ней помнил. У кого-то бежит время, Исино время трепыхается, как сердце, бывает, бьется – с неприятной растяжкой. И делать нечего.

Неожиданно прекратилась музыка, и Минна, топнув ножкой, потребовала тишины. Она была уже пьяна, но вновь наполнила бокал. Иса подумал, что она предложит очередной откровенный тост с упоминанием декольте. Но Минна возвестила, что теперь она невеста Миши – дальнего Исиного родственника. Миша сидел в углу и молчал.

Когда Иса танцевал с Лёлочкой, она спросила:

– Ты слышал, Иса, как Минна говорила, что она невеста?

– Да, но с Минной всегда так.

– Неприятно вращаться в такой атмосфере. Минна и с нашим Лёвой встречалась, а потом намекала, что ей нравится Даня. И Дузя числился в ее любовниках. А теперь вот ваш Миша...

– Я ничего не понимаю, Лёля. Для меня все кажется диким без Аси. Она бы растолковала, что тут происходит.

И напился Иса до всхлипываний. Если бы Фонтанка не была подо льдом, наверное, он имел бы возможность исследовать ее вонючее дно. И так устал от всех этих неприятностей, что заснул на извозчике, и сестре Флоре пришлось долго будить Иску у ворот дома.

Любовное помешательство Иски теперь тревожило всех, даже витающего в мечтах отца.

20/I 1926 г.

Ревель

Ваше письмо, многоуважаемый Исаак Михайлович, (описание именин) я вчера получила. Хотела сразу ответить, и не удалось.

Видишь, Иса, какой высокопарный стиль у меня по отношению к тебе. Ведь я не имею права теперь величать тебя просто Иса и на «ты». Вам сравнялся 21 год, вы уже взрослый молодой человек, и вдруг какая-то девчонка позволяет себе какие-то вольности. Мне вдруг, Иса, вспомнилось, как мы с тобой, сидя на диване у меня в комнате, целый вечер беседовали в таком вот тоне. И сейчас ужасно захотелось повторить эту сцену. Ну, ладно, оставим до следующего раза.

Как я уже тебе говорила, в день твоих именин кутила, мысленно была все время с вами, и за это меня Боженька наказал – нога разболелась. Сейчас, к счастью, чувствую себя много лучше и хожу уже не прихрамывая. Все же мои «мучители» (это дядя и тетя) не пускают еще танцевать. Вчера имела случай как следует покутить, но из-за них пришлось отказаться от этого удовольствия. Ты ведь знаешь, какая я любительница развлечений, а тем более, если это касается спиртных напитков. Вот видишь, Иса, как меня строго держат здесь, не то, что дома, где я пользуюсь полной свободой. Я только сама не понимаю, к чему я приехала к этим «тиранам». Они из меня сделали монашенку или того хуже.

Несмотря на это, все же вела разговор о том, чтоб остаться здесь до лета и поехать на курорт либо в Карлсбад, либо в Мариенбад. Вот это было б дело – я понимаю! Только пока это еще в проекте, а можно ли будет осуществить на деле – большущий вопрос. А вообще, если я здесь пробуду еще некоторое время, тебе придется набраться большим запасом тер-

пения и до осени его поддержать. Представляю себе, какие глаза ты выкаатишь и как разозлишься на меня! А там встретимся прежними друзьями, если ты до тех пор не забудешь меня и мое имя даже. У тебя память, кажется, не больно хорошая? Ну, Иса, я все это шучу. Так вероятно не будет. Ты меня не слушай, это все глупости.

Целую, Ася

24/I 1926 г.

Ленинград

Сегодня утром получил твое письмо! Конверт сам по себе не предвещал ничего хорошего. Едва заметная на конверте надпись «траур» заставила меня призадуматься о том, стоит ли вскрывать письмо или отослать его тебе обратно. Если помнишь, я писал о том, что, если получу траурный конверт, я не прочитывая отошлю его тебе обратно. Но я долго и нетерпеливо ждал от тебя письма, и трудно было удержаться от того, чтоб не прочесть его. И откровенно, я сожалею, что поддался искушению.

Собираетесь прокатиться в Карлсбад, Анна Ефимовна? Ну что же! Счастливого пути я вам пожелаю всегда! А что касается того, чтоб ждать вас до осени, то это, Ася, скверная шутка! Конечно, твоя теория о том, что чем дольше мы не будем видеться, тем сильнее будет желание встретиться, не годна в данном случае! Ася, к сожалению, не могу разделить полностью твои взгляды на отношения. Я не считаю нужным дожидаться окончательного решения этого «большущего вопроса».

Меня твое размышление о поездке в Карлсбад больно задело. Мне не верится, что такая умница, как ты, могла не понять, что так не шутят. А если это не шутка, то, следовательно, все прошлое, вплоть до последнего письма, беззаботная игра. Ведь когда мне было предложено ехать в Харьков, я наотрез отказался от поездки до твоего возвращения. И в то время как эта поездка для меня вопрос моего будущего, для тебя карлсбадская поездка – несурзное желание прихотливой взбалмошной психопатки. Я при всем моем желании не могу смотреть на это как на шутку.

Разве это шутка?!

Это не шутка и не глупости, поскольку ты этому придаешь большое значение. Это может превратиться в шутку, когда ты получишь отказ в получении визы.

Не мешало бы тебе прочесть у Льва Толстого очень поучительный рассказик «Много ли человеку земли нужно?». Или его можно назвать «Людская жадность». В этом рассказе описывается, как одному мужичку предложили взять себе столько земли, сколько он успеет обежать от восхода до захода солнца. И вот мужичок без передышки бежал от восхода до заката, и когда солнце совсем зашло, его нашли мертвым далеко-далеко от того места, откуда он начал бежать. Просто, но поучительно! Просто для тебя и поучительно для меня! Понимай как знаешь!

Ты, Ася, затеяла скверную игру! И я, маленькая игрушка с большим человеческим чувством, упорно протестую против этой скверной игры. И осенью мы с тобой встретимся, тогда и будем подробно беседовать. Впрочем, может быть, и не встретимся. Как я уже тебе писал, я собирался после твоего приезда уехать в Харьков. Теперь, конечно, ждать не стоит, и я сегодня же дам Траубергу телеграмму, о том, что готов к отъезду.

Конечно, я от души, милый Чижик, в случае если ты поедешь, желаю тебе счастливого пути. Веселого житья, и главное – здоровья!!!

Иса

29/I 1926 г.

Ревель

Мой дорогой, любимый мальчик!!!

Вчера днем получила твое письмо от 24/1. Я совершенно не понимаю, отчего ты так злишься. Мне не хочется доказывать тебе твою неправоту – она слишком очевидна. Все равно – я ведь теперь никуда не еду. Когда вернусь домой, если застану тебя, поговорю лично, если нет, то вообще не стоит об этом говорить!

Ты, Иса, слишком большой эгоист, ты не умеешь ничего сделать даже для своего любимого человека, ты должен заставляя его время от времени волноваться, болеть душой из-за твоих минутных раздражений и неприятностей. Одно только, и поверь мне – я не хотела причинять тебе никакой боли. А вот ты обдуманно заставляешь меня переживать большие неприятности, словно мстишь за что-то. Нехорошо, по-моему, так поступать! Но теперь вообще поздно говорить о случившемся. Ты дал телеграмму Траубергу о том, что ты в любое время готов ехать в Харьков. Жаль, что этот вопрос ты не обдумал несколько серьезнее, а впрочем... Может быть, лучше, что ты уезжаешь. Ты там устроишься, и не стоит из-за меня портить своего будущего.

Ты меня всегда обвинял, Иса, что я имею привычку, не подумав, решить что-нибудь очень важное, а ведь на сей раз ты поступил так же. Ты ведь не знал: шутка это или нет, поеду я или вернусь вскоре домой. У тебя на это не хватило терпения. И ты в горячую минуту побежал на телеграф. Сейчас об этом поздно говорить, но мне хочется тебе показать, что по части себялюбия ты далеко от меня не откатился.

Срок моей визы кончился 23/1, мне продлили до 6/III, но я думаю, что удастся оттянуть еще некоторое время. Даже мои туалеты только в зачаточном состоянии, не говоря уже о том, что тетюшка вне себя, как быстро пролетело время моего пребывания у них, и она не имеет никакого желания отпустить меня так скоро. Пойми, Иса, я не могу доставить им боль и уехать раньше времени. Они меня слишком любят и слишком хорошо ко мне отнеслись, чтоб я это сделала. Я ведь не так скоро смогу встретиться с ними еще, а я люблю моих дорогих родных! Иса, нельзя быть таким большим эгоистом, надо понять, что другие тоже хотят моего присутствия и любви.

К чему такое злое, сухое письмо? Никогда не пиши под влиянием настроения. Не надо! Ты для меня далеко не «игрушка». Стыдно даже, что ты так думаешь, а если бы и был ею, то поверь мне, что я умею обращаться с ценными вещами. Что же касается «траурного конверта», то это нелепое совпадение. Дело вот в чем: я купила конверты с черным или лиловатым кантиком и, когда заклеила письмо, подумала, что ты решишь, что это условный знак, и шутя рассказала об этом своему знакомому, он взял и обвел еще сверху чернилами, тогда я, испугавшись, написала сверху «не прими за траур». Ты понимаешь, этот мерзавец без моего ведома вычеркнул «не прими» и выделил это идиотское слово «траур». И сам же опустил письмо в ящик, я этого не видела, даю тебе слово! Ты себе не представляешь, как я возмутилась этой выходкой, когда узнала! Я его отчитывала в течение получаса. Ему попало здорово, поверь мне! А вообще не стоит обращать внимания на такие мелкие глупости... Важно то, что это ЛОЖЬ! А ты, глупенький, понял в самом деле! Нет, Иса, я слишком чиста в этом, хоть ты меня и назвал «ревельской развратницей».

Видишь ли, Иса, в чем разница, я от тебя не требую ничего, а ты от меня многого. Ты имеешь право писать, что ты был с такой и такой-то, что у тебя появилось желание с ней, а я не имею права упомянуть даже чужого имени или пошутить в этом направлении?! Нет, против этого я протестую. Сам поступай иначе, сделай так, чтоб я была уверена в тебе. Если человек хочет много получать, он прежде всего должен многое дать! Я бы тебе еще написала, но... мне очень некогда! (Ты разозлишься, я знаю!) Мне необходимо идти на примерку пальто. Портной не ждет, а письмо я хочу немедленно отправить. Кстати, я шью себе котиковое пальто.

Я уже писала тебе о том, что остригла волосы? Все находят, что мне очень идет. Стрижка у меня а-ля Катюша Фёдорова, т. е. с челкой на лбу. Возможно, что я еще переменю до приезда прическу и, если снимусь, пришлю фотографию. Напиши мне, какого ты мнения относительно моей стрижки, меня это очень интересует.

С нетерпением буду ждать твоего ответного письма. Не сомневаюсь, что не задержишь ответ.

Целую тебя очень крепко, Ася

5/III 1926 г.

Ленинград

Родная моя девочка!!

Сегодня утром неожиданным сюрпризом получил от тебя письмо. Ты права, родная, что не стоит вести политической переписки. А приедешь, и тогда мы с тобой вволю надыркаемся. Сейчас мне, конечно, жалко, что мои последние письма причинили тебе столько неприятностей. Но в момент творения этих писем я не задумывался над какими-либо последствиями. Думаю, для тебя будет понятно почему!

Живу по-прежнему полцотшельником и молюсь, чтобы Господь Бог послал тебе здоровье и силы встретиться с твоим возлюбленным!

Я лично чувствую, что благодаря нормальной жизни сила у меня прибавляется с каждым днем, и горе тебе, Чижик, когда мы с тобой встретимся – если у тебя под пальто не будет надета стальная кольчуга. Я обниму тебя и раздавлю как букашку! Но условие, Чиженка! Кольчугу ты должна снять после первого же приветствия.

Теперь, что касается моей поездки в Харьков. На днях я получил от Илюши письмо. Он пишет, что устроился пока что не особенно удачно. Я смогу туда приехать, по всей вероятности, не раньше чем к Пасхе. Кстати, я могу тебе сообщить его адрес: Харьков, Ветеринарная 4, кв. 8. Цуккерману для И. Трауберга....

Иса. Может ли Фира помочь?

Пришел Сашка и увел Ису к зубному врачу – он мучился уже с неделю. Очень волновался, хныкал, а Рыжий толкал его в спину к кабинету – Иса до неприличия боится зубной боли. Но в результате все прошло благополучно, то есть не так кошмарно, как он предполагал. Выдернули ему три больных зуба, и теперь он себя очень скверно чувствует.

Зима все лежит и лежит снегом и темнотой на всем вокруг и особенно на Искином настроении. Но что-то стало выравниваться, стало светлеть полегоньку. Вместе с прибывающей продолжительностью божьего дня у Исы стало прирастать хорошего настроения, и отсутствие Аси уже не казалось безоговорочно невыносимым.

Из Сычевки приехала девушка. Не Фаня, другая. Фира Базелинская приходилась Фане двоюродной сестрой и совсем была на нее не похожа. Очень красивая, очень смелая, она сразу расположила к себе не только мальчиков, но и всех без исключения девочек в компании. Играли разок в карты – в девятый вал – и разошлись около трех часов. Было довольно весело! На этом, Иса думал, и закончатся его внезапные забавы. Но Фира крутилась все время рядом. Иса даже писал о ней Асе, чтобы предупредить письма подружек – мало ли что эти идиотки могут наплести. А заодно он много рассказывал Фире об Асе. Та слушала, словно ничего интереснее в жизни не слыхивала.

Иса переживал, понравится ли ему новая стрижка Аси, но Фира помогла ему и в этом.

– Хотите, Иса, и я подстригусь, и вы увидите, что в этом нет ничего страшного?

Сказала и сделала. Была вызывающе привлекательной, хотя Иса и не любил коротковолосых барышень.

Чтобы отблагодарить девушку за проявленную солидарность с другой, с незнакомой, Иса пригласил ее к Сабурову²². Смотрели «Хорошо сшитый фрак»²³ и удовольствия получили много, смеялись громко в одних и тех же местах. В фойе встретили Сашу и Тео, которые тоже ошивались тут, а заодно сообщили, что Карлуша Гаккель решил бурно и помпезно отпраздновать день своего появления на божий свет, и потому числу к 20-му февраля все обязаны быть в форме – в прямом и переносном смысле слова. Затеваётся костюмированное представление. Разумеется, Фира тоже получила приглашение – куда уж теперь без нее.

В субботу с той же Фирой Иса идет в Музком на спектакль «Год без любви». Он и сам себя чувствует примерно так же, как герой пьесы. А Фира смотрит на него веселыми глазками, и Иса зовет ее в гости к Тео – просто так позвал, думал, что откажется, но Фира живо соглашается и даже покупает по пути водки у извозчика.

Весь вечер Иса думает, что же напишет Асе? Наверное, что-то в духе: «...и просидели там, несмотря на адскую скуку, до 4 утра». И не напишет, как до четырех утра они щупали друг друга за все места в комнате прислуги, но до главного не дошли – Фира тянула удовольствие. А едва только она встала с тюфяка, как Иса излился на старую перину.

20/II 1926 г.

Харьков

Это, конечно, было очень неожиданно: среди груды ежедневных писем со штампом «Ленинград» увидеть конверт со странными, незнакомыми марками. Неожиданно и, честно скажу, незаслуженно приятно. Незаслуженно, потому что для вас ответ на мое письмо – акт необходимой вежливости, для меня же оно явилось символом большого внимания.

²² Сабуров Симон Фёдорович (1868—1929) – русский театральный деятель, актер, антрепренер.

²³ «Хорошо сшитый фрак» (1912) – пьеса Г. Дрегеле, перевод Федоровича.

Не стану вымогать у вас сведений о ваших заграничных впечатлениях: полагаю, что они целиком сводятся к экипировке, нарядам и изредка к фокстротам. А об этом завидно слушать из других уст.

Также не буду долго и нудно излагать мои мысли, переживания, мироощущение и т. п. Общие сведения я вам изложил в предыдущем письме. Кое-что изменилось, пожалуй, к худшему. Отдельные данные, коих я не учел и о которых в письме трудно говорить, неожиданно вылезли на первый план и солидно разложили мое настроение. Искренно говоря, Ася, я не ощущаю, как ни странно, «тоски по родине». Но самое времяпровождение в Харькове являет умилительный контраст с ленинградским образом жизни: никаких хождений по знакомым (хоть они имеются у меня в большом количестве), никаких балов (был один раз и то, зевая, сбежал). Вместо этого – сидение по вечерам дома и обильная корреспонденция. В этом мое почти единственное развлечение.

Я стал инертным даже в отношении женщин (представляешь, Аська?!) и, несмотря на сердечную пустоту, не принимаю никаких мер к ее заполнению. Легкомыслие, столь вам знакомое, на время испарилось. Надеюсь, оно вернется вместе с весной...

Мальчики пишут много, но неаккуратно. Иса написал мне длиннейшее письмо, где изливал свои страшно расстроенные чувства. Условием собственного «воскрешения» он считает ваш приезд. Может быть, с моей стороны это нечестно, что я его выдаю, но делаю сие нарочно: до меня дошли слухи о его некотором легкомыслии по отношению к вам. Вот я и хочу, чтобы вы его проучили холодностью.

Саша Рыжий собирается переехать ко мне сюда. Устроить я его сумею, но беда в том, что в Харькове – отчаянный жилищный кризис, и мне на первых порах некуда будет его сунуть. Сам я живу у тети, с двумя кузенами в одной комнате. Комфорт неособенный.

Думаю, что пора кончать сие неволью затянущееся послание, но скверно-мецанская гнусная просьба уселась на кончик пера и хочет прыгнуть на бумагу. Речь о самой простой, мягкой, ковбойской шляпе! Я не жажду ни платков, ни шикарных джимонов, ни костюмов. Хорошая шляпа и галстук с косыми полосами – вот мой идеал. Деньги оставлены и ждут первого сигнала, чтобы кинуться за границу. Вы приедете, а с вами указанные вещи. Можно и посылкой (хотя это и хуже). Я не гордый. Но мне все-таки стыдно, ибо я знаю, что вы из любезности мне не откажете, но той души, что была вложена вами в желтые Искины туфли, – не будет!

Засим разрешите нежно, на правах друга, проститься с вами и пожелать всего хорошего, ожидать следующих писем.

Илья Трауберг

Весь город говорил о премьеры в Мариинском. Там поставили оперу «Любовь к трем апельсинам» композитора Сергея Прокофьева, который проживал за пределами СССР. Иса очень хотел послушать, но Фира запросила другого искусства.

Перед днем рождения Карлуши Иса и Фира были в Музкоме на «Подвязке Борджиа»²⁴.

Он немного тушевался из-за давешнего эпизода, но Фира сделала вид, что ничего не помнит. Да так ловко актерствовала, что Иса и сам поверил – конфуза не было. Тем более что после спектакля зашли к знакомому костюмеру и за бутылку хлебного вина одолжили пару костюмов из «Летучей мыши» – Фире достался костюм Адели, а Исе пришлось в пору лишь костюм Фроша – тюремного сторожа, ведь эта роль без пения исполнялась самым шуплым актером.

Тенора и баритоны – мужчины в теле, куда Иске до них: в любом из костюмов основных персонажей он мог бы устроиться на ночь. И было Исе несказанно жаль – «Летучую мышь» он

²⁴ «Подвязка Борджиа» оперетта М. Краусса.

знал наизусть и мог бы пропеть Фире что-нибудь из Генриха Айзенштайна. В одеянии Фроша придется помалкивать и кутаться в куцый кителек.

22/II 1926 г.

Ленинград

Хотел, Чиженька, вчера послать тебе письмо, но дома был такой шум, что не было никакой возможности писать.

Настроение у меня вчера было ужасно тяжелое. Сегодня сердисься, завтра все проходит. Получаешь от тебя злое письмо, отвечаешь тебе тем же! Затем другое твое хорошее послание изменяет настроение и заставляет вдогонку последнему письму слать другое. И так без конца. Злишься, радуешься, нервничаешь и беспокоишься. И все это потому, что мы никак не можем понять друг друга. Мы с тобой испытываем одинаковые чувства и настроения, но только в различное время. Когда я скучал до болезненного состояния, ты веселилась и радовалась всему новому, и неудивительно, что ты в своих письмах писала, о том, что стараешься не распускать себя, дабы не скучать. Ладно, к черту!

До того как идти к Карлуше, был с Фирой в Музкоме на спектакле А. А. Орлова²⁵. Шла «Подвязка Борджиа». В час ночи мы были у Карлуши. Опишу тебе этот великолепный вечер. Народу было много. Выпивки до черта (18 бутылок вина и 6 бутылок водки). Гости впускались только по именованным пригласительным билетам. Все были в костюмах – кто во что горазд. Своим я доволен не был, но уж что Бог послал. Сели ужинать, и, конечно, я напился как стерва. И неудивительно. Нагрузка была очень большая, ведь я обещал, что буду пить за всю тебя! Большое количество было выпито за твою левую половину, знаешь? Где под ребрышками бьется горячее большое хорошее сердечко, которое мне бы хотелось вынуть и поцеловать за то, что оно дает жизнь моему Чижику! А кроме сердца у тебя ведь есть еще многое, за что я тоже пил. После ужина танцевали. Потом пили чай. Потом проводил Фиру. Потом лег спать. Вот все, что у меня осталось от этого вечера. Утром проснулся в тяжелом состоянии, которое не покидало весь день. Я тебя очень прошу, Чижик, сделай все возможное, чтоб приехать раньше! А я буду терпеливо ждать и помнить свою далекую злоку!!

Ты пишешь, Чиженька, что потолстела, а я так вот сильно похудел и стал еще большим уродом, чем прежде. Ты не подумай, что я шушу, нет, я говорю вполне серьезно. Но я приму все меры вплоть до института красоты, чтоб встретить тебя во всеоружии. Удастся ли это, боюсь сказать наверняка, но я постараюсь! Спать хочу безумно, а люблю тебя еще больше! А потому хочу болтать с тобой хотя бы о самой ерунде, пока хватит силенок. Мне вот сейчас хочется и очень хочется, чтоб ты была со мной. Ну почему ты так долго не приезжаешь, Чижик, а? Чем лечишься, Чижик? Пойду, найду парикмахера, эдакого Жана Колбасюка из «Ягодки любви»²⁶ – новенькой фильмы, которую я посмотрел. Режиссер ее некий Довженко. Ничего особенного, но забавно. Найду смелого Колбасюка и сниму волосы, а то наш старый цирюльник Вилкин отказывается. Говорит, иди в Красную Армию, и пусть там бреют. Разве я не написал? Меня, кажется, призывают, Асенька.

Будь здоровой!! Пиши чаще и пожалуйста, не ерепенься!!

Твой Исаак

1/III 1926 г.

Ревель

Иска дорогой, любимый!!!

²⁵ Орлов Александр Александрович (1889—1974) – русский, советский артист балета, оперетты, эстрады и кино.

²⁶ «Ягодка любви» – черно-белая, немая, короткометражная комедия режиссера Александра Довженко, снятая им по собственному сценарию на Первой (одесской) кинофабрике ВУФКУ в 1926 г.

Мне хотелось поделиться с тобой впечатлением бала-маскарада, который был в субботу 27 февраля.

Опишу тебе как можно подробней. Часов в 11 вечера я со своей одной хорошей знакомой поехали отдельно от тети и дяди (чтоб нас не узнали) на вечер. Она была в голландском костюме, а я в костюме... шансоньетки! У меня был довольно красивый наряд: лиловый обтягивающий лиф, совершенно открытое декольте до... затем пышная тюлевая юбка (как у балерины). Лиф, кстати, весь в блестках и украшениях. На голове диадема в форме паука, на руках кольца и браслеты, всё «бриллианты», конечно! А главное, что я была в светлорыжем парике цвета яркого золота, который мне был очень к лицу. В руках колоссальные веер. Впрочем, ты сам потом увидишь: я снялась и даже несколько раз: на вечере всей группой, я в центре; затем с тетей и дядей и затем «solo». Только навряд ли получится что-нибудь приличное, так как я безумно смеялась все время.

Слушай дальше! Подъехали мы с ней на извозчике не прямо к зданию, а недалеко от него. Надели маски и вошли. Народу было очень много, много масок. Расхрабрилась я в этот вечер невероятно. Все равно меня тут немногие знают, думала я! Представь себе, что большинство меня знает, если не в лицо, так понаслышке, и некоторые из молодых людей, абсолютно незнакомые мне, но которых я просто поинтриговала, говорили обо мне: «это племянница Островских». Дурила я невероятно, троим мужчинам так вскружила голову, что они сами не знали, что делать. Они были уверены, что я их близкая знакомая, и, когда я сняла маску, просто растерялись! А подослала меня к ним моя тетя. Танцевала я до упаду. Сняла я маску почти из последних и произвела большой эффект, так как многие из моих знакомых не догадывались, что это я. Многие находили, что я очень похожа на Полу Негри. Вот представь себе новое сходство! Осталась я очень довольна вечером. Давно уж так хорошо не проводила время. Ну вот, мой дорогой мальчик, я постаралась как можно подробней описать тебе свое времяпрепровождение. Есть еще много различных интересных мелочей и подробностей, но у меня бумаги не хватит тебе все описать.

Сегодня у меня очень неважное настроение под влиянием твоего письма. Почему ты решил снять волосы? Я ненавижу мальчиков без волос, ей-Богу, для меня это прочное несчастье. Я знаю, ты будешь смеяться, а мне очень досадно! И потом, что это за призыв? Всеобуч или призывают на 1 год и 8 месяцев? Напиши мне, пожалуйста, обязательно об этом, а то я в недоумении. Как бы то ни было, я очень зла, что это должно случиться сразу же после моего приезда. Прямо безобразие! Представляю себе, какой ты красавец без волос, верно, можно в обморок упасть. Но я уже придумала способ: ты будешь всегда ходить в кепке и при мне никогда не снимать ее, слышишь? По моим расчетам, с сегодняшнего дня ровно три недели, что мне осталось здесь пробыть.

Ты себе не представляешь, Иса, как хотят и как просят мои родные остаться у них еще после Пасхи! Все блага мира к моим ногам, если я останусь! Но я не могу, я твердо и непоколебимо решила в середине марта быть дома. Завтра, вероятно, я пойду и заявлю, что хочу продлить визу только до 20-го марта. Тетя моя в ужасе, она настаивает, чтоб я еще повременила, а я хочу сразу же и поскорее отрезать все пути отступления.

Тяжело у меня сегодня на душе невероятно, еще оттого, что мне снилось, что мы с тобой плохо встретились. Мы какие-то холодные, чужие, и даже скользит какая-то неприязненность. Мне было так обидно, что я была готова разреваться и... проснулась с тревожным впечатлением, от которого не могу отделаться! А тут твое письмо, в котором ты пишешь так ласково, так хорошо. И я стала думать: «Не может же быть, чтоб это была ложь, чтоб по приезде это оказалось пустым мыльным пузырем». Это было бы слишком жестоко, Иса! Правда ведь?.. А дальше следует призыв... тебе, возможно, придется уехать куда-нибудь в деревню, напиши об этом немедленно же, слышишь, Иса!

Ну, на сей раз хватит моей болтовни! Пиши мне все мелочи твоей жизни, я сама об этом тебя прошу, надо писать все, что взбредет на ум. Почему ты так похудел? Верно, блудил много?! Сознайся! А я вот паинька, чиста как ангел. По приезде тебе все расскажу, мне кажется, сам не поверишь!

Ася

3/III 1926 г.

Харьков

Милый Исачок!

Шел вчера домой и гадал: сколько писем на столе, столько моих желаний исполнится. Желаний у меня много. Я надеялся, что увижу на столе груды писем. Но как на зло – ни одного, в первый раз за время моего пребывания в Харькове почти ничего не принесла... Разозлился, покрыл вас всех матом и пошел в «Музкомедию» на премьеру. Прихожу вечером и нахожу на столе твое послание. Долго читал и долго смеялся. А потом перестал смеяться.

Не нравится мне тон твоих рассуждений. Слишком какой-то растерянный, растрепанный. Как будто тебя хреном по голове стукнули! Нет, тебе определенно нужна головомойка, чтобы ты почувствовал свежий воздух и сладость ничегонеделания. Закатали б тебя сидеть 8 ч. на стуле и писать аки дьяк пудастый! Вот ты бы знал, как с жиру беситься! Поучи украинский язык – это тоже действует оздоравливающе. Не менее, чем мои ругательства! Ты просишь у меня дельных и добрых советов? Я польщен, тронут, взволнован и прочее – перед такой ответственной задачей. Все-таки попытаюсь. Как раз именно по вопросу с Фирой я смогу сказать тебе кое-что дельное. Должен признаться, что я возмущен. Судя по письмам мальчиков, я ожидал чего-то большего, успешного, глубокого, як хрен ушедшего – и вдруг... «Театры, кино, извозчики, шоколад»...

Ты – говнюк желторотый! Мальчишка лохматый, ничего не понимающий в женском сердце! Фатишка обосранный! Я смотрю на тебя с презрением: неужели ты не мог и не можешь понять, что к сердцу и другим частям тела Ф. – твой путь неудачный. Я ее знаю – более или менее. Не желая вызвать твоей ревности, скажу, что, по сообщенным мне данным, я имел счастье нравиться этой девице. Посему ею интересовался. Да и сейчас интересуюсь. Не ревнуй, детка! До нашего физического с ней сближения – если таковое когда-нибудь будет – ждать долго. За это время ты успеешь еще 20 Фир перещупать.

Но – по существу.

Ты ведешь неправильную политику. Фира – богатая девочка, на театры и шоколад ей насрать. Она необычайно умна – это ее достоинство. И ты должен идти не через свой тощий карман, а через твою нарочитую простоту, откровенность. Если бы ты сразу ей сказал, что денег у тебя нет, что она тебе нравится, говорил бы это тоном свободным, простецким, ты бы ее скорее подкупил... И дешевле бы стоило! Попробуй! Употреби мой метод. Приди к ней и не бойся. Потом напиши, расскажи. Я с ней переписываюсь. Она пишет изумительно остроумные, хорошие письма. Я ей написал только два слова о тебе. Это было до получения от тебя письма. То, что я написал, к лучшему. В общем, о Фире довольно. Жду «сообщений с фронта». Асе я ответил. Жду ее писем.

Описание вечеринки Гаккеля доставило мне удовольствие. Доволен тем, что меня не было в такой «гнусной» компании всяких блядей! Но все-таки меня интересует: пили ли вы за мое здоровье?

Теперь держись за землю: три потрясающих новости!!!

1) Сценарий «Красный Макет» А. Родченко и Ил. Трауберга принят ВУФКУ (Всеукраинское кинофотоуправление).

2) Композитор А. Рябов (автор «Коломбины») пишет музыку к оперетте Ил. Трауберга «Короли кино».

3) В конце марта Ил. Трауберг читает кинолекцию в Харькове.

Все это факты, верны на 75%. Я не говорю на все 100%, потому что не хочу делить шкуру неубитого медведя. А таких медведей есть еще несколько. Как только они будут убиты, вы тоже примете участие в дележе. Ты теперь понимаешь, что так скоро я не приеду. До лета придется посидеть. А там – увидим. Ну, в общем, это пустяки.

Пишите, сволочи подлые, и заслужите то хорошее отношение мое, которое вы, суки драные, имеете ни за что ни про что...

Засим остаюсь работающий, полускучающий, ожидающий писем,

Илья Трауберг

Ася + Иса. Конец разлуке

В городе лютовал грипп. Люди умирали. Даже некоторые знакомые Исы чуть не отправились на тот свет. Женатые не могли оправиться долго, так как заражали один другого по нескольку раз. Иса, хоть и холостой, тоже заболел здорово, еле сидел на стуле, когда случался очередной приступ эпистолярной горячки.

Гриша Раппопорт, член их компании, сидел арестованный по делу кинофабрики «Севзапкино». Оказалось, что множество сотрудников кинофабрики имеют отношение к гибели поэта Есенина. Но отчего это так и так ли это, у Исы не было сил поразмыслить.

Сашка Рыжий невольно подсуропил неприятность Илюше Траубергу. И Трауберг с расстояния почти в полторы тысячи верст грозился разбить другу всю морду и не поздравить с именинами. Из-за этого «рыжего дерьма» Илюша на расстоянии поссорился с милой девушкой Людой! Та зашла к Сашке в гости, когда хозяина не было дома. Ожидая Рыжего, скусающая Людочка вытащила Трауберговы письма к Саше и стала листать-почитывать. В некоторых эпистолах, в частности, говорилось и о ней. Трауберг там без всякой интеллигентности, аки Адам без всякого стыда, проезжался на Людочкин счет. Вот она шум подняла! Отписала Илюше, что приличные мужчины так о дамах не пишут, употребила буржуазное слово «моветон» и обозвала и корреспондента, и адресата лицемерными сплетниками. От ее письма в голове у Трауберга поднялась кровавая заря революции и чуть мозги не воспламенились. И отписал он ей – будто отрезал – чужие письма не читают! Не читают, мать твою, интеллигентка хренова! Порвал с ней, хоть раньше и придерживал на будущее – уж больно заманчиво колыхалась ее грудь под кофточкой. Сашке тоже досталось. Он был обозван подлецом нахальным: почему он держит Илюшины письма незапертыми, раз к нему можно прийти кому угодно, сидеть без него и даже шарить по ящикам?

Также Илюша не был бы самим собой, если бы не отомстил. Однажды Сашка получил большой конверт от ВУФКУ²⁷ и очень удивился. В конверте был сценарий, на титульном листе котором было напечатано его имя – Александр Поланецкий – настоящее имя Рыжего. В сопроводительном документе значилось: «Сценарий неприемлем!» Оказалось, что это старый и плохой опус самого Илюши, который он сдал Всесоюзной сценарной комиссии и который, конечно же, не подошел. Трауберг заранее знал, что не подойдет, и потому просто, коварный, решил опозорить не свое имя, а Поланецкого! Сукин кот, что скажешь!

²⁷ Всеукраинское фотокиноуправление (ВУФКУ) – государственная кинематографическая организация (1922—1930). ВУФКУ – первая построенная в СССР крупная кинофабрика, впоследствии Киевская киностудия. До этого кинофабрики укреплялись на базах существовавших до Революции студий.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.